

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



245
506

ДАНИЯ

ЮРГЕН ЮРГЕНСЕН
АФРИКАНСКИЕ
РАССКАЗЫ

ВЫПУСК
№ 34



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ

акс 175



Вып. № 34.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ЮРГЕН ЮРГЕНСЕН

JÜRGEN JÜRGENSEN

РОД. 1872

А Ф Р И К А Н С К И Е
РАССКАЗЫ

У 245
506 ПОД РЕДАКЦИЕЙ
К. ЧУКОВСКОГО
ПРЕДИСЛОВИЕ
Р. ГРИГОРЬЕВА



П Е Т Е Р Б У Р Г

1 9 1 9

Изд. „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Государственном Издательстве.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Место действия рассказов Ю. Юргенсена — область Африки, расположенная около реки Конго. Рассказы посвящены жизни и быту этих земель, являющихся колониями различных европейских государств *).

Следует отличать реку Конго — одну из величайших в мире рек (около 4000 верст в длину, орошает, со своими притоками, огромное пространство свыше 3 мил. кв. верст) — от страны или, вернее, стран Конго, находящихся в бассейне этой реки.

Имеются три области Конго: 1) Конго — негритянское „государство“, находящееся в принадлежности Португалии Ангоре, с главным городом Сан-Сальвадор, или по туземному Амбесси. Эта страна считается самостоятельной, но фактически подчинена Португалии, хотя в XVII столетии негритянские племена изгнали своих

*) Колониальной жизни посвящены еще следующие книги: 1) Мультидули (голландская литература): „Макс Хавеллар“ (роман); 2) его же: „Рассказ о Сандье и буйволах“ (рассказы); 3) Пьер Милль (франц. литература): „Рассказы Барбано“; 4) Редьярд Киплинг (англ. литер.): романы, рассказы и повести.

владык, вновь водворившихся там в XIX веке. 2) Конго—французское, на западе Средней Африки: колония французской республики, известная еще под именем „Французской Экваториальной Африки“, и 3) наиболее обширное и известное—Бельгийское Конго, с 1908 года окончательно превращенное в колонию Бельгийского королевства.

История этой последней области весьма интересна и поучительна. Занимает она пространство в 2 с лишним миллиона кв. верст и населена 15 миллионами негров, т. е. значительно превосходит по величине и населению самое Бельгию.

Знаменитый путешественник Стюарт, исследовавший в 1877 г. Конго, познакомил Европу с богатствами и характером этой страны. Существовавшее в то время, под председательством предприимчивого бельгийского короля Леопольда II, международное общество для изучения и „цивилизации“ Африки, поручило Стюарту заняться колонизацией Конго. Таким образом, в 1882 г. было основано „Независимое государство Конго“, признанное через два года всеми державами на международной конференции в Берлине. На той же конференции были установлены границы этого „нейтрального“ и „самостоятельного“ государства, выработана его „конституция“, в числе пунктов которой

значилась отмена рабства. На деле, однако, все эти постановления остались на бумаге: „независимому“ государству дали верховного владыку, монарха—бельгийского Леопольда, рабство „отменили“, но ввели принудительный труд для негров, обложили их непомерными налогами, заставили отбывать воинскую повинность. Вообще, бельгийское хозяйничанье в Конго представляет собой одну из самых черных страниц в далеко не светлой истории колониальной политики Европы. Выжимание богатств из Конго происходило в таких формах и размерах, что один лишь король Леопольд, счастливо сочетавший в своей особе монарха и капиталиста-предпринимателя, за десять лет „заработал“ на этом деле около 70 миллионов франков. В 1908 г. окончательно были сброшены фиговые листки, и бельгийский парламент вынес постановление, согласно которому „независимое“ Конго откровенно обращено было в колонию бельгийского королевства. С этого времени, благодаря энергичной борьбе социалистов и протестам других государств, главным образом, Великобритании, были проведены некоторые мероприятия, ослаблявшие рабовладельческий режим Конго.

Но, разумеется, эти частичные меры в весьма незначительной степени изменили положение дел, и по настоящее время бельгийское Конго

попрежнему являет собой один из ярких образчиков величайшего позора европейской „цивилизации“.

Небольшие рассказы Юргенсена выпукло и убедительно рисуют нам жизнь этой „страны лихорадок“ (климат Конго необычайно жаркий и вместе с тем влажный — средняя годовая температура 25°). Там царят губительные лихорадки и, так называемая, „сонная болезнь“, там люди терпят всяческий голод — вплоть до „железного“, там труд безрадостен и мучителен, там царит какая-то серая одурь, парализующая волю и мысль.

— Мы здесь, в Вамбунджи, не привыкли работать, — говорят женщины-негритянки есержанту, мечтавшему преобразить этот край.

— Вы что же, предпочитаете подожать с голоду? — рявкнул тот.

— Мы и так поживаем, — был ответ. И они, действительно, поджидают от „белой бактерии“ — от рабства, названного им таинственными и могущественными „болыми“, со всеми его орудиями — принудительным трудом, истощающими поборами, болельями, водкой, привидениями. Они бегут в свои действительные леса, скрывающиеся в непроходимых чащах, вернутся и грабят, где можно. Порою и разосылая жиньк толпы их на дикие женщины-воительницы, и с хитростью и жестокостью хищных зверей они учиняют

бесчеловечную резню (смотри „Вождь Сангалимене“).

Быт африканской деревни, ее внутренние отношения, обычаи, семейная жизнь, освещены в великолепном рассказе „Возвращение Понго“, где автор, словно устав от описаний смертей, жестокостей, горя и страданий, вдруг улынулся нежной улыбкой и с любовным юмором решил показать этих людей в их обычной жизни с их милыми человеческими чертами и слабостями.

В рассказах Юргенсена есть одна своеобразная особенность, редко встречающаяся у других писателей, посвящавших свое внимание колониальной жизни. Он не только описывает быт туземцев, но также уделяет много внимания жизни и ощущениям самих завоевателей.

Юргенсен словно говорит нам:

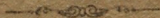
Не надо забывать, что горе и бедствия, причиняемые колониальной политикой, обрушиваются не только на ее непосредственные жертвы,—всех этих злосчастных негров, индусов, индейцев и других,—но и на голову тех, кто фактически эту политику проводит. Речь идет конечно, не о государях, дипломатах, министрах, генерал-губернаторах и т. п. вершителях судеб, а о всех тех людях, которых, большую частью подневольно, отрывают от родины и

бросают куда-то за тридевять земель, в чуждые, дикие страны, заставляя делать жестокие и злые дела.

Они мрут, как мухи, от непривычного, нездорового климата („В страну лихорадок“), гибнут во время восстаний туземцев („Вождь Сангалмисне“) в окружающей обстановке всеобщей отчужденности, вражды, недоверия, становятся полубезумцами, маниаками, заболевают не только физически, но и духовно, („Железный голод“, „Белая бактерия“).

В нескольких небольших рассказах Ю. Юргенсен пытается вскрыть все язвы той страшной болезни, которая свирепствует над человечеством под именем колониальной политики.

Р а ф. Г р и г о р ь е в.



В СТРАНУ ЛИХОРАДОК.

Пароход «Принцесса Евгения» медленно плыл по течению однообразного Конго. Пассажиры прятались от солнца под навесом на средней палубе и ныли от жары. Их было восемь, и весь путь от Антверпена до Бомы они совершили вместе. Затем, две недели изнывая от истощения, проскучали в раскаленной, как печка, Боме, проехали по железной дороге в Лео, там опять неделю металась в бесплодном ожидании и теперь снова около недели ехали на пароходе. Сидя на палубе, за остатками скудной трапезы, каждый думал о событиях минувших дней.

Все они были офицеры на службе государства Конго, молодые, здоровые люди, еще несколько месяцев тому назад служившие в войсках различных европейских государств.

При выезде из Лео, с ними были еще два товарища. Один из них, итальянец, через несколько дней после выезда, лег на свою койку, закатил глаза, сказал: «Сакраменто!» *) и отдал Богу душу. Товарищи, столпившиеся около не-

*) Итальянское ругательство, вроде «порт вольи».

го, и не догадывались—что с ним, пока не пришли капитан и доктор и не констатировали смерть. Прежде чем остальные успели оправиться от изумления, тело итальянца уже зарыли на поросшей лесом косе в двух-трех шагах от воды. Только на другой день, когда пароход уже отошел на порядочное расстояние от места погребения, ехавшие на пароходе прониклись жутким сознанием, что их посетила смерть.

Датчанин, совсем молоденький поручик, так огорчился этим, что слег в постель и, трясясь в лихорадке, всю ночь напролет командовал: «Полоборота направо! Шагом марш!» и «Ружье на пле-чо!» А затем и он предоставил «Принцессу Евгению», вместе с негостеприимным Конго, их неведомой судьбе и ушел в туманную страну, откуда нет возврата. Юношу схоронили в ближней туземной деревушке, примостившейся на самом берегу, и, пока пароход стоял у берега, машинист смастерил из пустого ящика деревянный крест для могилы.

И на другое утро, чуть свет, прежде чем двинуться дальше, все они ходили прощаться с этой могилой. Попадись им такой крест где-нибудь в другой стране и при других условиях, он, в своей наивной простоте, по всей вероятности, показался бы им комичным. Но здесь он напоминал им о чем-то грозном, о чем не говорили мраморные кресты и памятники на

кладбищах Рима, Брюсселя, Женевы и Копенгагена. И это напоминание врезалось в души им всем.

Они стали раздражительны и молчаливы; настроение у всех было какое-то странное. Еда сопротивлялась своим томительным однообразием, и мало кому кусок шел в горло, хотя, по окончании обеда, не было иной заботы, как ждать ужина, который, — каждый знал это уже вперед, — тоже не покажется вкусным. Нетерпение, раздражительность и скука все глубже раз'едали организмы и отравляли настроение.

За пять-шесть дней несколько человек захворали и слегли в постель, и когда кто-нибудь вставал и, с лихорадочно-блестящими глазами, устремлялся вниз, в каюту, остальные думали, каждый про себя: «Вот и № 3-й. Быть может, скоро и до меня дойдет очередь».

Тени недовольства и тоски по родине омрачали молодые лица. Постепенно пассажиры «Принцессы Евгении» утратили всякий интерес к тому немногому, что происходило за пределами парохода, и целиком ушли в жуткое сознание нависшей надо всеми гибели. А пароход все плыл и плыл в неведомую даль, среди стоявшего двумя стенами леса, по блестящему белому зеркалу вод.

Грек целыми днями почти не сходил с своего складного стула. Смерть давно наложила пе-

чать на это смуглое лицо с заострившимися чертами; матово-черные глаза смотрели упорно, не отрываясь, но прочесть в них ничего было нельзя. Он был здесь несчастнее всех, ибо его с трудом понимал даже швейцарец Якоби, владевший чуть не всеми языками, на каких говорят люди.

Итальянский доктор тоже завял и едва держался на ногах, а бельгийский лейтенант Ванмаэль был желтее лимона.

Взгляд лейтенанта Крога переходил с итальянского врача, уснувшего, поинкинув головою над пустой тарелкой, на Ванмаэля, который сидел с ним рядом и, несмотря на палящий зной, дрожал от холода.

Крог был норвежец, сдержанный, не разговорчивый и не очень молодой; другие, помоложе, относились к нему почтительно и сами первые не заговаривали с ним. Он и Якоби обыкновенно были вместе.

После похороны датчанина Крог вдруг оживился. К большому удивлению и даже испугу своих упавших духом слушателей, он часами просиживал теперь с ними, разглагольствуя на всевозможные темы.

Возьмет, например, руку Ванмаэля и начнет: «Дайте-ка, я пощупаю ваш пульс... Ну, конечно, у вас лихорадка. Напрасно вы сегодня ели. Вам надо лечь в постель, выпить горячего

нию и укрыться потеплее. Сейчас же подите и лягте».

А у самого щеки пылают, глаза стеклянные.

Но это не мешает ему давать советы, выкладывая все свои медицинские познания, недавно освеженные чтением.

Но Ванмаэль продолжал сидеть на палубе, желтый и унылый. Ему вовсе не хотелось лежать на койке, одному со своими мыслями. Достаточно он уже передумал в бессонные ночи. Эти мысли жгли его мозг, палили, словно огнем, его лоб, и от них у него прыгали перед глазами разноцветные искры.

Крог тяжело поднялся со стула. Ему вдруг захотелось спать, и он побрел в свою каюту, между тем, как остальные снова разлеглись на раскидных стульях, поставленных кружком на палубе.

* * *

Час спустя, Якоби совершал обычную свою одинокую прогулку на корме, мимо кают. Думая о своем, он машинально заглядывал в раскрытые окна. Увидел Крога, с пылающим лицом, лежавшего на своей койке, глядя в потолок, и ему вдруг захотелось крикнуть ему что-нибудь, шуточным замечанием спугнуть это похоронную тишину.

— Занятая река этот Конго! — крикнул он в окно.

Крог повернул к нему блестящие непротертые глаза. Швейцарцу стало жутко.

— Позовите капитана Йонсона, — пересохшими губами прошептал норвежец.

Йонсон и Крог были в родстве. Случай свел их вместе в этом отдаленном уголке земного шара. Каждый вечер, со дня отъезда из Лео, они усаживались рядом на передней палубе, обмениваясь воспоминаниями о родине, дурными и хорошими.

Йонсон взошел вместе с Якоби на командирский мостик, стал перед дверьми каюты Крога и добродушно повторил слова, которые он говорил уже не раз: «Да, брат, это не то, что дома на ученье или в манеже. Ты, собственно, зачем меня звал?»

Но вдруг, приглядевшись к Крогу, он испуганно воскликнул:

— Кой черт! Да что с тобой?

— Со мною плохо... Конец мой пришел, Йоганн.

— Что? Да ты с ума сошел!

— Я чувствую, что это конец... Месяца через два ты вернешься домой... Возьми эти часы — отдашь их отцу...

— Послушай, будет тебе болтать вздор! Не

желаю я больше слушать! Что на тебя вдруг нашло?

— Не могу больше, умираю...

— Да ты спятил, дружище! Ведь у тебя до нынешнего дня даже ничего не болело.

Якоби стоял рядом и напряженно следил за сменой выражения на лице капитана Йонсона.

— Что он такое говорит?—нервно допытывался швейцарец.

Обозленный Йонсон, не отвечая, бросился на палубу.

— Был лейтенант Крок сегодня болен?—обратился он на плохом французском языке к итальянскому врачу.

Дремавший итальянец вдруг проснулся, остальные медленно повернули головы к капитану и с испугом воззрились на него.

— Нет, не был,—устало выговорил итальянец.

— Подите к нему, посмотрите, что с ним.

Капитан пошел вперед, а за ним поплелся итальянец. В каюте стоял один Якоби, нагнувшись над больным. Оставшиеся на палубе испуганно переглянулись между собой, и каждый вновь почувствовал ледяной дрожью пробежавшую по спине уверенность в том, что между ними смерть... Маленький поручик Йонсон, датчанин, учившийся в одной школе с товарищем, ныне покоившимся под деревянным крестом, веселил всех на океанском пароходе своими шало-

стями. Но на Конго и он стал задумываться, рассуждая про себя:

— Теперь Круг захворал. У грека такой вид, как будто ему два часа до смерти; доктор тоже болен; Ванмаэль тоже очень слаб и не сегодня-завтра заболеет. Ну, а мы, прочие, пожалуй, уцелеем.

Около четырех часов доктор в третий раз позвал капитана Йонсона в каюту Круга.

— Ничего не понимаю,—жаловался доктор.

— Я тоже ничего не понимаю,—в ужасе отвечал Йонсон.

— Ну что? Каково тебе? — спрашивал он Круга.

— Так, как я говорил утром,—с усилием выдал из себя Круг.—Кланяйся отцу и дяде—и.

— Да, Ганс, я не забуду, и нэррегардской барышне тоже передам от тебя привет.

У Круга захватило дух, но в широко раскрытых глазах его засветилась ясная улыбка—его последняя улыбка.

После смерти лейтенанта Круга с пассажирской палубы как будто исчезли последние остатки воли к жизни и потребности в самосохранении. Капитан Йонсон никого не подпускал к себе; Якоби инстинктивно забивался в маленький свободный уголок за руфом, или же шатал оди-

ноко по боковому корридор^у, доходи только до середины корабля. Но, в конце концов, оставил прогулки и засел на задней палубе; ибо каждый раз, как он, шагая, приближался к пяти пассажирам, праздно лежавшим на раскидных стульях вокруг стола, его охватывал ужас. С остальными он видался только за столом, да и это, видимо, было ему в тягость. И были дни, когда он предпочитал питаться бананами, наваленными грудой на крытой палубе, и совсем не выходил к столу.

Облокотясь на перила, капитан сидел на командирском мостике и смотрел на воду. От времени до времени движением головы он указывал на мель или песчаную косу, выдвинувшуюся далеко в воду, и черный рулевой мгновенно переводил этот жест на шумливое скрипящее колесо.

Лицо Йонсона сильно осунулось со времени смерти Крога, и, когда кто-нибудь из негров не сразу толком выполнял его приказ, глаза его метали искры.

Он ничего не понимал. Что же это, в самом деле?—он не смеет показаться на палубе собственного судна, потому что люди умирают у него один за другим. С буфетчиком они мучились два дня, а вчера и его схоронили на дне реки возле самого берега.

В Лео он принял на борт десять пассажиров,

а теперь осталось всего шестеро. Дьявол, что ли, шутит с его судном? Если так пойдет дальше, он прибудет на место в единственном числе...

Кто-то сзади его постучал костяшками пальцев в стенку каюты. Капитан раздраженно повернулся. Это был Якоби, по крайней мере, хоть один живой человек.

— Итальянский доктор и инженер захворали. Вы не придете туда?

Когда Йонсон и Якоби вышли на палубу, трое, сидевшие там, уставились укоризненно на капитана.

Он вдруг обозлился.

— Что вы так на меня смотрите? — заревел он, встав перед грёком. — Я не желаю умирать. Нечего на меня так смотреть.

Но грек не в состоянии был отвратить смертельно усталый взор от лица капитана.

Тогда Йонсон выдернул из-под грека стул и сбросил больного на пол.

Двое других невольно поднялись, видя, что капитан направляется и к ним.

— Прочь с дороги! — ревел Йонсон. — Вы не даёте мне пройти. Лейтенант Якоби, пришибите вы этих слюняв. Разве вы не видите, что они издыхают?

Лицо у капитана было белое, как мел, и все перекошено от болезненной ярости.

— Плюньте им в рожи, лейтенант Якоби,— орал он.— Ничего лучшего они не стоят.

Якоби застыл на месте от изумления и неожиданности и не сводил глаз с бледного лица капитана. В первый момент он подумал, что капитан рехнулся. Но потом сообразил, что именно взбесило Йонсона, и, когда вслед за тем он очутился вдвоем с капитаном в каюте умирающего итальянца, почему-то у него стало легче на душе—он сам не мог уяснить себе, почему.

Тем не менее грек поднял свой стул и снова безвольно раскинулся на нем. Двое других, опомнившись от изумления, стали вспоминать былые времена, когда они не оставили бы безнаказанным такого оскорбления.

Когда капитан снова появился на палубе, они встали и заявили ему, что будут жаловаться на такое злоупотребление властью с его стороны.

— Слава тебе, Господи!—воскликнул капитан.—Тогда, по крайней мере, вы не умрете.

На другой день схоронили доктора на станции, где полагалось останавливаться пароходу, а инженера, полумертвого, снесли на берег и поместили у жившего на станции врача.

На следующий день вся жизнеспособность и воля к жизни, какие были налицо на корабле, сосредоточились, повидимому, на двух полюсах—на носу и на корме. Капитан продолжал злиться,

и пассажиры на центральной палубе каждый из раздраживали, когда он вымещал свою злость, ругая негров.

На корме одиноко шагал Якоби, собиравшись с силами.

На средней палубе было неспокойно. Лейтенанту стало не по себе между страдающим желтухой бельгийцем и греком, похожим на живого мертвеца. С того дня, как капитан со злостью изрутал их всех, путанные мысли маленького лейтенанта все время возвращались к одному. Он непременно пожалуется на грубого норвежца, как только они придут к водопаям Стэнли. Ни за что он этого так не оставит! Этакий, ведь, неотесанный мужик! Какая наглость—вести себя так с пассажирами! И у него жилы вздулись на лбу от гнева, когда он видел, как капитан с перекошенным лицом перегибался через перила и кричал вылиз слова команды на языке бангала *).

Он усиленно припоминал, как все это произошло, в каком порядке—как капитан Йонсон опрокинул стул и повалил грека на пол, а потом, сквозь желтые нечищенные зубы, принялся выкрикивать злые, безумные слова. И он ясно видел самого себя стоящим перед генеральным комиссаром и докладывающим о скандале.

*) Наиболее распространенный язык среди негров.

И, странное дело, сердиться на живого—это облегчало—при этом меньше думалось о мертвых. Но все же ему всякий раз становилось жутко, когда он взглядывал на грека, у которого из глаз смотрела смерть, или на Ванмаэля, казалась, уже позабывшего выходку капитана.

Не раз маленькому лейтенанту приходило в голову пойти на когму и поговорить об этом деле с Якоби. Вообще, ход его мыслей обыкновенно начинался с Йонсона и заканчивался Якоби. Однажды вечером, взвизгив себя, он выполнил задуманное и пошел в боковой корридор разыскивать Якоби, хотя тот всего час тому назад за столом украдкой бросил на него взгляд, отнюдь не располагавший к сближению.

— По моему, вам ничего не следует предпринимать по этому поводу, — задумчиво сказал Якоби.

После чего оба они остались сидеть за маленьким складным столиком—собственностью Якоби—дав волю, наконец, потребности в общении, так долго не находившей себе удовлетворения. Постепенно лейтенант освоился с швейцарцем и буквально ожил.

С этого дня они стали неразлучны. Оба теперь редко обедали за общим столом, насыщаясь бананами и консервами, приносимыми лейтенан-

том из своего сундука. И были довольны, когда можно было уйти ото всех.

Несколько дней спустя к ним присоединился Визмаэль—его тоже пригнала сюда жажда жизни.

Лейтенант и Якоби вначале не очень были рады непрошеному гостю.

— Я не мог там больше выдержать,—пояснил Визмаэль, словно отвечая на заданный ему вопрос. С минуту оба смотрели на него, как бы раздумывая, прежде чем согласиться. Затем и он был снова принят под защиту жизни.

Грек один вел теперь свою жуткую игру со смертью. Однажды, в страхе и смятении, он пришел к капитану и уставился на него, не говоря ни слова. Йонсон отогнал его от себя трехэтажным ругательством.

Но предчувствие близкой кончины слишком томило несчастного, и он сделал еще одну попытку—присоединиться к тем, троице.

— Скучно у нас на пароходе,—выдавил он из себя с вымученной усмешкой на отвратительном французском языке. Но все трое так на него посмотрели, что больше придти он не осмелился. Еще некоторое время бродил он по палубе, словно злой гений корабля. Наконец, однажды вечером лихорадка наложила свою черную повязку на лицо несчастного и увела его во тьму, раньше чем он успел позвать на помощь.

Когда на следующее утро и его похоронили, и пароход двинулся дальше, Якоби пошел к себе в каюту и вынул табакерку с музыкой. После первых похорон он спрятал ее в сундук, но теперь вынул снова и поставил на стол. И когда веселые мелодии, наигрываемые ею, сменили траурный свисток, данный капитаном в честь свежей могилы, все трое, умывавшиеся на палубе, подставляя обнаженные руки и грудь свежему утреннему ветру, поняли, что они спасены.

Капитан Йонсон, еще утром злой и раздражительный, привлеченный звуками органчика, вышел на палубу и с удивлением воззрился на эту веселую картину утра. И, смелся, воскликнул:

— Ура, ребята! Так вы, оказывается, не совсем еще свихнулись?

Лейтенант и Ванмаэль, молча, стояли и раиались на капитана, раздумывая о том, почему они вдруг забыли старую обиду и готовы смеяться вместе с ним.

— Да — ошарашенные за всех Якоби, — теперь мы снова живы.

И когда первый солнечный луч упал на палубу, а последние тени смерти расселись и потонули в кюветной стене, все четверо встретили утро криком ликования.

БЕЛАЯ БАКТЕРИЯ.

Белая бактерия давно уже истребила большую часть необозримых некогда лесов Европы и Америки; теперь очередь дошла и до экваториального леса, разросшегося пышно и густо еще с тех времен, когда земная кора выделяла из себя достаточно воды, полагая, что темный материк — надежное убежище от белой бактерии.

Но это была ошибка.

Назначение белой бактерии обуславливается исконными идеалами земного шара, требующими простора, воздуха и света, во имя красоты и правды, стремящимися к тому, чтобы освободить поверхность земли от всякой паразитной растительности и одеть ее свежими, девственными формами в желто-зеленый убор из спелых колосьев пшеницы и бананов.

Разумеется, все эти идеалы и цели неведомы белой бактерии, но в ней живет мистическое сознание, что она обязана осуществить их; и на этом она трудится с неусыпным усердием.

Пассажирские пароходы перевозят ее из Европы через Атлантиду и Гвинейский залив в африканский девственный лес. Всюду по течению Конго она проникает в чащу леса и здесь, разделяясь на отдельные колонки, пролагает себе путь дальше вверх по несчетным большим и малым притокам Конго в сеть первобытного леса. Она глубоко в'едается в берега рек и выгрызает целые участки из живой ткани леса.

Всюду, где бы ни появилась эта бактерия, она оставляет за собой больные места, и с течением времени болезнь распространяется точно так же, как в Европе и в Америке.

Но лес не поддается. Он обороняется. Для борьбы с болезнью организм его выделяет из себя живительные соки, и местами ему удается снова вытолкнуть инородное тело обратно в круг кровообращения, откуда это тело может быть вынесено наружу или умерщвлено.

Такой опасности особенно подвержена изолированная бактерия, утратившая связь с породившей ее колонией.

Именно такая участь постигла сержанта Гедрикса.

Он был родом из западной Фландрии, из Ипра, и поехал в Африку, чтобы накопить денег

и обеспечить приличное существование своим старикам-родителям и красавицам-сестрам. За такое самоотвержение его немало восхваляли на узких живописных улицах его родного городка.

Перед отъездом Гендрикса с главной станции Боледа, на берегу Конго, на вспомогательную станцию Вамбунджи, на реке Ломако, где он должен был заменить больного товарища, начальник округа сказал ему:

— Как бы далеко вы ни забрались, помните всегда, что вы не настолько далеко, чтобы я не мог видеть, что вы там творите.

В первый и в последний раз Гендрикс получил, таким образом, прямое предостережение не замыкаться в своем одиночестве, непригодном для плохо вооруженных в жизненной борьбе индивидов, погибающих от недостаточного питания.

Гендрикс был бесконечно рад променять вынужденную праздность и скуку монотонной жизни на независимое самостоятельное положение начальника одного из лесных участков.

Однако же, во время плавания на пароходе вверх по течению реки Чимби, ему не однажды вспоминались слова начальника округа, постепенно приобретающие глубокий смысл и значе-

ные.
это
вави
его

Н
изгля

ч

реки
рег
чего
земл
хижи
зали
почт

З
лодк
офи

К
даль
снов
все
шин
на
ему
дань
чело
бен

ние. Несколько дней подряд он тащил за собой это предостережение, как невидимые узы, сковывавшие его свободную волю и привязывавшие его к далекой твердой точке.

Но затем—к несчастью — предостережение изгладилось из его памяти.

Через четыре дня пароход добрался до устья реки Ломако. Здесь Гендрикса высадили на берег в брошенной рыбацкой деревушке, где ничего не было видно, кроме вытопанной догола земли и полуразвалившихся негритянских хижины, разбросанных между деревьями; да и те, залитые водой во время наводнения, стали все почти необитаемы.

Здесь ему предложено было ждать прибытия лодки, которую пришлет за ним больной унтер-офицер из Вамбунджи.

Когда, через пять дней, пароход, ушедший дальше, к верховьям Чимби, на обратном пути снова проходил мимо этой деревушки, Гендрикс все еще ждал. Но капитан, и без того просидевший полдня на мели, не счел возможным сойти на берег, чтобы навестить его, а лишь кивнул ему издали и крикнул: «Всего доброго! До свиданья!» А про себя прибавил: «Бедняга!» Ибо человек, находящийся все время в пути, неспособен даже понять, как это можно пять дней кряду

просидеть на одном месте и не умереть от скуки или, по крайней мере, не сойти с ума.

Гендрикс жил в хижине, дырявая крыша которой не защищала его, как следует, ни от палящих лучей солнца, ни от проливных дождей. Кроме двух солдат и боя *), застрявших вследствие наводнения в той же деревушке, да нескольких обезьян и птиц, он за эти дни не видал живой души, если не считать старого, с волосами, как шерсть, рыбака, дважды приплывавшего к ним откуда-то из лесу на выдолбленном древесном стволе, чтобы выменять сушеную маниоку и копченую рыбу на олово и бусы. При всем том, в первые дни Гендрикс был доволен, словно школьник, впервые отпущенный на каникулах один в дорогу.

Большую часть дня он проводил на берегу, глядя на мутные воды Ломако, kloкотавшие под зеркальной гладью медлительной Чимби. По реке плыли вырванные половодьем кустики травы, казалось, направлявшиеся к берегу, но, когда они были уже рукой подать от Гендрикса, внезапно, словно испугавшись, они поворачивали обратно на середину реки, и тут снова замедляли ход, увлекая за собой случайно подвернувшийся кусок дерева или мертвую птицу, принесенную Чимби из другой местности.

*) Бой (англ.—boy)—малыш-подросток для посылок и мелких услуг.

А вечерами, под шум воды, Гендрик при лунном свете мечтал о будущем своем величии и Вимбунджи.

Ночью он спал сном праведным и ему снилось, что он—современный рыцарь, крестоносец, жертвующий жизнью ради святого дела.

Но однажды утром, когда он, по обыкновению, сидел на берегу и от нечего делать рвал камыши и метал их в реку, словно копья, ему вдруг захотелось направить свои мысли в другую сторону, вниз по течению Чинби.

И оказалось, что это злитие—куда интереснее. Мысленно он видел снова каждую маленькую станцию, каждую деревушку, видел острожки, мимо которых они проплывали. Боледа—чортovo гнездо — пестрела между черной опушкой леса и зеркальной поверхностью реки кучей железных и красных камней. И, под'езжая в мечтах на пароходе, слишком большом для Конго, к главной станции, Гендрик милостиво кивал головой стоявшим на берегу. И грезилось ему, что вся его шапка расшита золотом, и все белые, стоящие на берегу, ему подвластны, и он дерзает им пространные речи, ясно доказывающие его усердие и силу характера. А затем на устья Конго он едет дальше, через море и, сам не зная, как и зачем,—ибо тоской по родине он не страдал,—попадает в узенькую улочку в старом Ипре, где у окна работает старик-сапожник, а

две его молоденькие дочки сидят у порога и плетут кружева на коклюшках.

Внезапно что-то затрепыхалось у него в груди и ему почудилось—что за неделось!—что река выела у него сердце и унесла его с собой, чтобы выбросить на берег где-то вдали. И теперь он вынужден будет жить без сердца.

В странном волнении он вскочил, чтобы кинуться в реку и плыть по течению вслед за своим сердцем. Но тотчас же, разумеется, опомнился и, пораздумав, решил, что не полезно для человека сидеть одному на солнце и не отрываясь смотреть на воду, бегущую в одном и том же направлении.

С этого дня терпение изменило Гендриксу, и он буквально задрожал от радости, когда однажды под вечер—после двух недель ожидания—из-за деревьев донеслись могучие удары весел и вскоре показалась лодка с плетением из бамбука навесом. На его глазах лодка, быстрая, как стрела, повернула на северную реку; затем течение долго несло ее в сторону, решивше, чем ей удавалось повернуть нос к берегу брызгавшихся лижн.

Лодка была маленькая и вся расхлябанная, с большою щелью на носу; когда эту щель не затыкали тряпками и не замазывали глиной.

в лодку проникала вода. В лодке было всего девять гребцов—во всем Вамбунджи не набралось больше людей, да и по соседству шюткуа было взять десятого.

— Туземцы на верховьях боятся воды,—исяснял проводник, и грубые черты его татуированного лица расплывались в доверчивую гримасу, ясно говорившую, что он и сам не чужд того же страха.

Впрочем, лодка и не выдержала бы большого груза, ибо вместе с тяжелым багажом сержанта она принуждена была нести тяжесть воды, пропущенной через щель на корме.

Вверх по течению плыли очень медленно. И все же Гендрикс радовался, что они приближаются к цели, к чаще девственного леса, где он в заколдованной тишине проведет свою юность ради стариков-родителей и красавиц-сестер, утешаясь сознанием, что он выполняет высокую задачу. Он полагал, что мученичество, на которое он идет добровольно, пробудит в нем тайные силы духа.

Куда ни глянь, по обе стороны реки не видно ничего, — только девственный лес. Да и этих широтах ничего другого и нет. Лес и болото. Слово необозримый ярко-зеленый ковер моха, тлится девственный лес по болотам. Крепко

вып. 31. 1891 г. 1000.

врезается корнями в землю. От палящих лучей защищается крепкой, как щит, блестящей, словно выточенной из рога листвою, как скупец, пряча в ее тени влажную плодородную землю. И словно мережи, погружает в проточную воду рек крепкие, свисающие вниз лоскутья своей кожи, чтобы солнце не опалило его подножия.

Но хотя он закован в такую крепкую и жесткую броню, — он, все же, всем телом своим ощущает пронизывающую боль, причиняемую ему новой язвой, — белой бактерией, которая для него хуже всех прочих напастей.

Вот почему так ярко блестит налитая ненавистью его жесткая зелень, — а неопытный европеец в своих первых письмах на родину доводит этот блеск «солнечной улыбкой леса».

Гендрикс сам, то и дело, улыбался, даже зимой раз смеялся громко, так трудно ему было сдерживать свою радость. Все казалось ему смешным и забавным, — и попугай, кричавший над его головой, словно перелет с одного берега на другой был таким важным событием, и слоны, топтавшиеся на берегу, или в илистой мутной воде, меж оголенных коряг, и гребны, жаловавшиеся, что они голодны и устали... И ничто не пугало его, ни даже надетевшая ночью буря, — хотя дождь погасил костер и насквозь промочил его постель.

Путь становился все затруднительнее. Течение было такое сильное, что гребцы порой едва справлялись с ним и лодку то и дело сносило в сторону; нередко приходилось работать одними баграми.

Проехали мимо фактории на левом берегу. Остановились — и Гендрикс познакомился с парой бедных торговых агентов, выглядевших так, словно их забыли тут по небрежности. Они говорили вялостью, словно вся страна была в трауре, стояли сгорбившись, понуриив головы, и лишь странно посмеивались, когда Гендрикс с громким веселым смехом оживленно рассказывал им о своем путешествии и о трудностях, которые ему пришлось преодолеть. Провизии они никакой не могли ему дать — у них у самих ничего не было. Туземцы, жаловались они, ничего не дают, а общество забыло о них и ничего не присылает.

«Они не сумели поставить себя с туземцами и не пользуются авторитетом», — подумал про себя Гендрикс.

Для за два до прибытия в Вамбууджи у него было маленькое приключение: само по себе неприятное, но словно созданное для того, чтобы написать о нем домой.

Лодка села на мель, долго не могла сойти и, когда, наконец, стала огибать излучину реки, на

чащи деревьев; густыми кучами росших на берегу, в нее было пущено несколько стрел. Один из солдат ответил выстрелом — в чаще леса что-то прошумело.

Гендрикс разглядывал стрелы, впившиеся в борт лодки.

Это была первая весть о грядущем мученичестве.

В своей записной книжке Гендрикс отметил: «Туземцы встретили меня градом стрел».

Река успела уже ему порядочно надоест. На затопых половодьем берегах не видно было больших селений. Но, очевидно, в чаще леса жили люди, так как на берегу виднелись местами рыбацьи поселки, брошенные жителями теперь, во время половодья.

На последнем перегоне воду едва успевали выкачивать, и лодку неустойчиво тянуло в глубину. Но гребцы справились и с этим. Стихия смыла только хорошее настроение сержанта. Не удучилось оно даже тогда, когда меж телами гребцов, увешанными разноцветными тряпками, Гендрикс увидал Вамбунджи.

Издали станция выглядела словно свежая рана на теле леса. Когда же сержант вышел на берег и увидал разваливающиеся бамбуковые хижины, разочарование его возросло. Крохотные заросшие сорными травами поля имели такой

жалкий вид, как будто лес твердо решил надвинуться и заглушить их.

Гендрикс иначе представлял себе Вамбууджи—веселенькой деревушкой, залитой солнцем, с зелеными лужайками и ослепительно белыми домиками в тени пальм и бананов.

В особенности не доставало ему широкой, крытой, прохладной веранды, на которой он намеревался восседать, окруженный вождями туземных племен, и судить и мирить между собою негров—«бедных братьев наших, обиженных мачехой природой», как о них пишут в газетах.

Но его жизнерадостность проснулась снова, когда он познакомился с Мертенсом, больным сержантом, болезнь которого заключалась, главным образом, в упорной тоске по Боледе;—одинокий, изнуренный лихорадкой, он мечтал о ней, как о спасительном прибежище, где были и врач и начальство, у которого можно найти защиту.

Заметив болезненную слабость товарища, Гендрикс неожиданно ощутил в себе неисчерпаемые силы.

* * *

На другой день он вместе с Мертенсом обошел свой участок, по пути излагая свои планы и намерения.

Старый, мрачный дом посредине площади он решил сразить с землей, и на этом месте разбить грядки базилином и хризантем. Семена он привез с собой. Добыл себе в Болехе даже маленький карликовый розовый куст, завезенный туда покойным сослуживцем. Этот кустик он посадит в центральной клумбе, и здесь, в этой плодородной земле, он, намеренное, пышно разрастется. А слева выстроит новый дом, с огненною верандой, фасадом к площади, а тылом к лесу. Траву и поросль он валит расчищать, а в лесу, между пальм и гигантских папоротников, проложит дорожки и поставит удобные скамеечки, — как в парках его родины. По ту сторону площади, где учат солдат, будет разбит огород. В Коко, ведь, нет хороших овощей, — а семена он все привез с собой. Солдацские бараки он все перестроит, часть леса вырубит, поля расчистит и засеет их рисом, маниою, базилими и маниокой. Тогда станция в состоянии будет кормиться сама, собственными средствами, без помощи населения.

О том, как он намерен держаться с населением, Гендрис умалчивал. Об этом он пока не думал.

Мертенс, усталый скептик, про себя не мало дивился предприимчивости своего будущего преемника и слушал, сторбив плечи и странно усмехаясь — совсем, как те, в Ломако.

Эта недоверчивая усмешка тоже входила в состав мученичества, как его представлял себе сержант: но он отомстил Мертенсу.

Они пришли теперь в солдатский лагерь, разбитый в глубине просеки. Был час обеденного отдыха. Негры-солдаты сидели празднично перед маленькими, кривыми вонючими лачугами, угрюмо и хмуро глядя в пространство; ни один не встал навстречу подходившим белым.

— Однако, они у вас плохо вымуштрованы, — заметил Гендрикс. Это была его месть.

— Когда людей не кормят...—хотел было возразить уязвленный Мертенс, но во-время остановился, вспомнив, что незачем обращать на такие вещи внимание новичка.

— Встать!—скомандовал Гендрикс, дивясь слабости и равнодушию товарища.

Солдаты поднялись не сразу, вяло и медленно, как-то хмуро скаля зубы.

* * *

Дня два-три Мертенс с Гендриксом напрасно ждали начальника района, посулившего приехать в Вамбунджи, чтобы присутствовать при сдаче участка и, кстати, ознакомиться с местными делами; он уже больше года не был в этой местности. Но и на этот раз он не приехал. Лодка привезла письмо с извещением, что ему пришлось остаться, чтобы заменить больного служащего.

— Да мы и сами все отлично сделаем,—воскликнул Гендрикс и пугливо оглянулся на товарища, заметив, что его голос прозвучал октавой ниже, чем следовало;—он с удовольствием увидел бледную изумленную улыбку на лице больного.

За отсутствием начальства, Мертенс сам посвящал товарища во все дела участка и в общее положение страны. Он говорил как раз о том, что интересовало Гендрикса,—больше о постройках, чем о людях, объяснений избегал, о многом умалчивал и многое представлял в ином свете, так что даже устал и раскраснелся, и таким манером сумел дать своему преемнику совершенно ложное представление о положении вещей.

Затем он уехал, оставив на память Гендриксу свою фотографию и визитную карточку, вместе с честным словом, по возможности, скорее приплыть обратно дырявую лодку, на которой тот приехал в Вамбунджи.

Три недели спустя он и прислал ее—на несчастье Гендрикса.

* * *

Только лодка, увозившая Мертенса, скрылась за деревьями, молодой сержант сделал неожиданное открытие, что ему не достает человека, с которым он мог бы делиться своими намерениями и планами.

На лицах солдат и их жен, кричавших с берега слова прощания отъезжающему Мертенсу, он вдруг заметил какую-то отчужденность, которая еще яснее дала ему понять, что отныне он предоставлен самому себе.

Но, все же, ему удалось сдержать слезы, — ведь он был мужчина и в некотором роде крестоносцем.

Отвернувшись от реки, своей текучеством путавшей мысли, он повернулся грудью к лесу, который намеревался победить.

И холодная дрожь пробежала у него по спине.

Солдаты со смехом и шутками вернулись в лагерь. Гендрикс остался на площади один, дошел до дверей дома и задумался, глядя в сторону лагеря.

Оттуда донеслось шение.

На утрешней перекличке он сказал людям, что, по случаю отъезда Мертенса, он на остальную часть дня освобождает их от занятий. Он вошел в дом и взялся было за газету, привезенную из Болелы, но чтение не интересовало его.

Он жаждал общества себе подобных и пошел прогуляться по деревне, жемавшей в пяти минутах ходьбы от станции.

Эта деревушка с убогими лачугами была на очень привлекательна. Почему Мертенс

БИБЛИОТЕКА
В.Н. ЯЗЫКИНА

лед скрыть эти лачуги и выстроить взамен их новые? Гендрикс по пути заглядывал в иные. Они были пусты; изнутри тянуло отвратительною вонью. Под открытым навесом лежало несколько молодых парней. При виде белого, они вскочили и опрометью кинулись в лес.

На обратном пути Гендрикс встретил негритянского сержанта Момбассу, шедшего за ним с ружьем в руках.

— Ты не ходи один в деревню, — наставительно сказал Момбасса, — туземцы злое.

Но Гендрикс покачал головой. Что же он здесь кому сделал дурного?

Плотный, коренастый Момбасса, широкоплечий, как европейский посылщик, любовно погладил ствол своего ружья — ему он больше доверял, чем людям.

Хотя Гендрикс и не питал недоверия к туземцам, все же близость этого гунна несколько успокаивала его. Он стал расспрашивать его о туземном населении. Момбасса понемногу рассказывался. Но та картина условий местной жизни, которую рисовал он, совсем не соответствовала рассказам Мертенса.

Тут только Гендрикс узнал, что туземцы лишь незадолго до его приезда возвратились в свои жилища, а до того долго прятались в лесу. По деревням свирепствовала оспа. Вожди не приносили положенного количества провизии на

станцию, а люди не хотели работать. Они кочевали по лесам, охотились, ловили рыбу, а женщин и дети чахли в зараженных хижинах. Племена, живущие покатые, грозилась напасть на станцию и убить Мертенса.

Всеми этому Гендрикс вначале не хотел и верить. Ведь Мертенси уверял, что здесь на станции положение, в сущности, очень благоприятное; население довольно податливое; недостаток в естных припасах зависит от случайных причин и, раз Гендрикс добросовестно возьмется за дело, он, несомненно, будет иметь успех.

Под «успехом» Мертенси, вероятно, разумел кучуж.

Сержанту ясно представился тисдеушный Мертенси, с лихорадочно блестящими глазами. Теперь он вдруг заметил, что эти глаза все время лгали.

Подвигаясь на высокое крыльцо, ведущее к его дому, он неожиданно удивил сам себя неожиданной мыслью:

— А жаль, все-таки, что районный начальник не приехал.

* * *

Прошлое напрасно часа два хорошего настроения, которое должно было явиться от сознания, что он теперь — власть и начальство, полномочный начальник участка, Гендрикс, руководимый

неясным желанием сказать кому-нибудь приветное слово, оживился в лагерь.

Солдаты, как и раньше, сидели, ничего не делая, и не встали при его приближении. Но, странно, это только еще больше разжигало его сердце.

— А ведь приятно иной раз иметь свободный вечерок,—обратился он к одному из солдат.

— Да мы, ведь, никогда не работаем по вечерам,—ответил тот, не поднимаясь с места.

Это рассердило Гендрикса. Так, значит, Мертенс и тут наврал?..

Дрожа от гнева, вернулся он домой. И весь вечер думал лишь о том, что надо хорошенько вышkolить солдат, привить им дисциплину.

И на другой же день принялся за реформы. Женщинам велел вымести станцию и выполоть сорную траву, а солдатам устроил учение. Вся охрана Ванбунджи состояла из сорока солдат, всю жизнь проводивших здесь, на станции, и в маршах по лесу.

Он сделал строгое лицо и объявил, что там, в Болеле, недовольны распушенностью здешних солдат. Там его рота удостоилась особой похвалы от окружного комиссара. И здесь он не желает быть предводителем шайки бандитов.

Словом, он говорил как раз то, чего люди, лучше умеющие рисковать жизнью, чем бьки-

дывать артикулы с ружьем, не любят слушать. И усердия у них от таких его речей не прибавилось; наоборот, они еще неохотнее выполняли приказания. Кончилось тем, что сержант, ради острастки, выволок за плечо из рядов маленького, простоватого на вид солдатика и велел ему стать под ружье. Но, прежде чем уйти, негр швырнул наземь свою амуницию и сказал так громко, что слышали и Гендрикс и солдаты:

— Мы здесь в Вамбунджи, а не в Болеле.

Гендрикс спросил Момбассу, бывал ли этот солдат наказан раньше. С знакомой Гендриксу улыбкой, входившей в область мучения и чести, Момбасса нерешительно ответил, что он, наверное, не знает, — ибо он охотнее распространялся о провинностях туземцев, чем солдат.

И когда Гендрикс обвел взглядом ряды солдат, ему почудились ответы этой улыбки на всех прочих лицах. И все утро его не покидало тягостное чувство, и, в конце концов, он почти убедил себя, что все они смеются над ним.

Проходя после учения мимо того места, где солдаты рыли ямки для столбов, которые должны были поддерживать его новый дом, он заметил, что они оборачивались ему вслед и о чем-то перешептывались.

Но пока он сорвал злость только на женщинах, которые выстроились в ряд на поле и размахивали заступами в такт тягучей песне.

— Да, ведь, вы ничего не делаете!

И он начал ругаться.

Женщины побросали заступы, повидимому, для того, чтобы лучше слышать. Некоторые лукаво поглядывали на него, а одна сказала ему с обольстительной улыбкой, несколько смутившей Гендрикса:

— Мы здесь, в Вамбунджи, не привыкли работать.

— Вы, что же, предпочитаете подождать с голоду? — рявкнул Гендрикс.

— Мы и так подыхаем, — был ответ.

Гендрикс продолжал браниться, но женщины уже не слушали; они снова затянули свою песню, в такт вонзая в землю заступы.

Когда же он отошел, они снова побросали заступы; женщина, которая умела обольстительно улыбаться, посмотрела ему вслед и молвила:

— М о а н а! — что значит: «ребенок».

* * *

Вечером, Гендрикс, сидя дома один, снова слышал пение, доносившееся из лагеря. Пели мужские голоса. И сержант вздохнул свободнее, когда пение смолкло.

Но безмолвие не меньше тяготило его. И он пошел бродить по пустому, неприветливому дому, ища чего-то—он сам не знал, чего. В одной из темных комнат он, наконец, заметил что-то белое. Это была открытка, принадлежавшая больному товарищу, который теперь жил где-то на низовьях Конго и радовался, что спас остатки сил.

На открытке ничего не было написано. Но Гендрикс бережно взял ее в руки; потом сел и стал смотреть на нее. Встаки, с почтовой открыткой в руке было как будто не так одиноко.

Ночью он не мог уснуть и думал о том, что он скажет завтра солдатам.

После утренней переключки он долго и странно-увещевал их, доказывая необходимость порядка и добросовестной работы на станции. Работы полны руки,—говорил он.—Надо перестроить все дома, обсеменить поля. Вамбунджи должен подать добрый пример всем окрестным деревням.

Солдаты слушали вяло и недоверчиво поглядывали на него. Такие речи они уже слыхали, и те утратили для них прелесть новизны. Отчего он лучше не ведет с ружьями в руках гнать туземцев на работу?—спрашивали один у другого солдаты.

Гендрикс сам чувствовал, что слова его падают на бесплодную почву.

И снова ему до боли захотелось как-нибудь приласкать этих людей, развеселить их. И, заставляя солдат проделывать разные упражнения с ружьем, он в то же время рассказывал им забавные эпизоды из жизни гарнизона Болела. Но солдаты раздражительно и недовольно морщились, и от этого у него холод пробегал по спине.

Когда кончилось учение, у него точно тяжесть с плеч свалилась. Он задал солдатам рабочие уроки и пошел с Момбассой в деревню.

Если бы как-нибудь подбодрит туземцев — это, несомненно, внесло бы некоторое оживление и в жизнь на станции.

В деревне они встретили двух женщин; Гендрикс послал их за вождями. Некоторое время спустя явилось несколько фигур, отощавших, запуганных — и вовсе не похожих на вождей.

У Гендрикса заблестели глаза; он возвысил голос, зазвучавший убедительно и бодро. Он убеждал вождей подавать добрые примеры, бороться с болезнями и ленью, пахать и сеять, сжечь старые хижины, в которых угнездилась оспа, и построить новые. Он обещал каждое утро приходить в деревню и помогать им при распределении работы.

Вожди как будто оживались и обещали завтра же утром быть на месте, собрав как можно больше народу. И Гендрикс возвращался домой с сознанием начатого большого дела.

Дойдя до станции, он сделал открытие, что женщины снова бросили работу, чтобы—как они объясняли—приготовить дома ужин мужьям. Солдаты все еще не кончили рыть яму для фундамента нового здания и занимались только болтовней.

Гендрикс дрожал от злости; к вечеру его стало лихорадить, и он принужден был лечь в постель.

На другое утро он встал вялый, с тяжелой головой, заменил себя на учении капралом, женщины поставил на полевые работы и пошел с Момбассой в деревню.

На улицах—ни души. Нескоро удалось Момбассе раздобыть вождей; те рассказали, что жители, узнав, что их хотят заставить работать, спрятались в лесу.

Гендрикс беспомощно стоял посреди пустой деревни и соображал, как бы тут поумнее взяться за дело. Но мысли его путались.

— Что же нам теперь делать? Как по твоему?—обратился он к Момбассе, с напускным равнодушием, как будто ему представлялось много выходов.

— Не знаю,—был ответ.

На следующее утро Гендрикс сделал еще одну попытку. Но, как только за поворотом дороги показалась фигура белого, селение мгновенно опустело.

Таким образом, дело реформ в Вамбунджи затягивалось, и Гендрикса томили жуткие предчувствия. Он без конца ломал себе голову, придумывая способы, как бы сблизиться с туземцами и завоевать их доверие.

В одно прекрасное утро у Гендрикса явилась мысль, ему самому казавшаяся превосходной. На берегу реки, как раз напротив станции, лежало, видимо, жилое прежде место, густо заросшее травой; по словам вождей, деревья прежде стояла здесь. Если бы только удалось убедить жителей Вамбунджи покинуть свои нездоровые жилища и переселиться поближе к реке, тогда все они были бы у него под рукою и он мог бы лучше следить за ними. Кроме того, тут, действительно, местность здоровее и лучше можно устроиться.

Он вызвал к себе вождей, сообщил им о своем намерении. Они сначала упирались, потом обещали, что созовут народ и сами первые начнут пахать на новом месте.

Но когда Гендрикс на другой день пришел с Момбассою в деревню, вожди сообщили ему, что все жители, мужчины, женщины и дети, узнав о желании белого человека переселить их на берег, несмотря на все увещания вождей, ночью, забрав весь свой домашний скarb, бежали в лес, и осталось только двое-трое умирающих от оспы. А остальные решили поселиться

на старой просеке в лесу, часах в двух пути отсюда.

— Они боятся реки,—пояснил один из вождей, и взгляд у него был бегавший, беспокойный.

Другой покосился в сторону Ломако и выговорил, понизив голос.

— Река—она злая.

Гендрикс вопросительно взглянул на Момбассу.

Сержант смотрел упрямно в землю. Гендрикс тогда не понял этого, но запомнил его взгляд.

— Почему «злая»?—переспросил он.

— Да, почему?—повторил Момбасса, задумчиво глядя в очи белому.

* * *

Гендрикс не мог разрешить этой загадки; она раздражала его, и он украдкой то и дело поглядывал в сторону реки. А вечером взял складной стул и уселся на берегу.

И потом, спасаясь от одиночества, стал приходить сюда каждый вечер.

Он слушал шум воды и находил в нем утешение, и не понимал, чего же тут бояться.

Но чем больше притягивала его к себе эта вечию бежавшая вода, тем больше пугал его дремучий лес, и мало-по-малу этот страх стал господствовать над всеми его настроениями и властвовать над его мыслями.

Теперь он неохотно ходил в деревню, предпочитая ту часть станции, которая лежала между домом и берегом.

Первообытный лес нагонял на него жуть своей дремучестью. Один раз, когда он пошел в лес присмотреть, за пахотой, ему вдруг стало так нехорошо, что он вынужден был вернуться домой и снова лечь в постель. Но вечером заставил себя встать и пошел к реке. Это помогло.

— Почему река злая? — спрашивал он себя снова и снова.

И этот вопрос, как пустое пространство, отделял его от всех здешних жителей — потому что и солдаты редко появлялись на берегу.

Почему же все они предпочитают углубляться в лес, когда его с каждым днем все больше чарует и притягивает жалобная мелодия речных напевов?

Еслиб Гендрикс вспомнил, как часто он на улицах своего родного города встречал жалких, исхудалых людей, пробиравшихся вдоль стен, цугливо избегаая площадей и широких набережных; еслиб он вспомнил, что и люди одной с ним расы склонны прятать свою тоску и горе по темным углам, — вопрос этот, может быть, и не представлялся бы ему таким неразрешимым.

Но ему больше бросались в глаза различия, чем сходство между расами.

Если теперь он появлялся в лагере или на постройке, то лишь для того, чтобы выбрать рабочих, или обратиться к ним с бесплодными увещаниями. Но восстановить порядок ему не удавалось. Женщины поминутно бросали работу, а ночью воровали незрелые овощи с убогих стационарных огородов. Солдаты с каждым днем становились ленивее и равнодушнее. Немногие туземцы из глубины района, еще доставлявшие на станцию съестные припасы, приносили их все меньше и меньше. Туземцев ругали за это: они уходили и на другой раз приносили еще меньше или не приходили вовсе. Гендрик посадил под арест пару вождей, но они убежали, и это только навлекло на него объявление войны от всего населения района.

Общее возрастающее недовольство и плохое питание проявлялись между прочим и умножением болезней. Что день, то больше солдат являлось по утрам на медицинский осмотр. И никакие угрозы карами не помогали—это хорошо было в Боледе, где над ним было еще высшее начальство. Число больных все возрастало; ряды работников редели. Половина гарнизона числилась больной. Несколько солдат заболело оспой. Двое умерло.

Ни одно из начинаний Гендрикса не двигалось вперед. Ему не удалось даже развести порядочного огорода. Две старухи вскопали заступами

жирную землю и руками выровняли грядки. Но, когда все, наконец, было готово, и Гендрикс пошел в склад за семенами, он увидел, что все они подмочены дождем; и пакетики с семенами превратились в клейкие водяные комочки.

Со вздохом, от которого у него заболела грудь, Гендрикс сделал и еще одно печальное открытие — розовый куст, поставленный в горшке под деревом, засох, потому что его давно не поливали.

Чем дальше, тем больше росло отчуждение между Гендриксом и прочими обитателями станции. Они инстинктивно сторонились от него. И порой, когда Гендрикс одиноко шагал по своей узенькой веранде вокруг дома, у него являлось непреодолимое желание крикнуть: «Помогите!»

Но чаще всего он бежал к реке, своим шумом и плеском успокаивавшей его тревогу.

— Это река стоит между нами, — говорил он себе. — Меня боятся, потому что я все время сижу у воды, а для них в ней — злые чары... И, вправду, это река виновата, что я ничего не делаю здесь. Она крадет у меня мою силу. Это она вынуждает меня поворачиваться спиной к моему врагу — лесу. Река околдовала меня.

До сих пор блестящая зеркальная гладь представлялась ему большою, сотканною из солнца и ветра дорогой, по которой он приезжал сюда и которая снова выведет его из дремучего леса отчаяния.

Но теперь он почувствовал жуткую правду — что река приобрела огромную власть над ним, что он оттого и болен и сходит с ума, что целыми днями сидит тут на берегу и смотрит на воду. Ведь он поставил себе целью покорить этот дикий край, внести в него жизнь с помощью священных сил, заложённых в его душе, — а теперь у него вырвали сердце из груди.

И Гендрикс уже со злобой и ненавистью выглядываясь в пучину вод. И чем дольше смотрел, тем, казалось ему, лучше понимал.

Перед ним лежало живое чудовище.

Огромное, ошетилившееся, оно угрожающе терлось плоскими лопатками о песок и камни берега, подпирая его могучими плечами — и берег медленно осыпаясь. Ид и тина, извергаемые его телом, тянулись за ним на много миль по болотам. Местами оно, выгибая хребет, с пеной у рта предавало между стиснувшими его горами и, лениво скользя, охлаждало разгоревшиеся бока в тени леса. И там, где берег был ровный и плоский и знойный, чудовище снова обрушивалось на него всей своей тяжестью с шумом сотни пылящих локомотивов.

Да, река была злая, и доверять ей не следовало.

Гендриксу она представлялась теперь чем-то в роде падшего ангела, который, свалившись с неба, яростно бил хвостом в безумном возмущении против всего, даже против формы земного шара и человеческой воли.

Собрав все свои силы, Гендрикс принял смелое решение не поддаваться чудовищу. Он вернулся домой и крикнул Момбассу.

— Река злая, — сказал он сержанту.

Момбасса кивнул головой. Он давно это знал. Но мысль, что и белый теперь убедился в этом, не способствовала его успокоению.

— Завтра мы со всеми здоровыми солдатами выступаем в лес. Я хочу обойти все деревни.

— Воевать будем?

— Нет. Белый человек не ведет войны с черными. Белый человек не может жить без черных. Без черных белый умрет в лесу.

Это было уже непонятно Момбассе. Вообще, старому воину трудно было понять, для чего солдатам оружие, если им не воевать.

А Гендрикс в этот вечер впервые заснул с улыбкой на устах и не видел дурных снов.

* * *

Увы! старая цветная бактерия уж прижилась в лесу, организм его свылся с нею, и лес даже

берет ее под защиту, но белую бактерию он охотнее всего выталкивает наружу. Объединение цветной и белой расы слишком опасно для него.

* * *

На другое утро они двинулись в поход, пробираясь напрямик сквозь чащу леса из селения в селение. Повсюду жители, услышав их, бежали в чащу, покидая свои полуразвалившиеся хижины, в которых пришельцы находили только умирающих от осы. Те же, кто мог, хотя с трудом, ходить, днем прятались в лесу, а по ночам, если и выходили, то лишь для того, чтобы метать в лагерь Гендрикса отраженные стрелы.

Вначале Гендрикс решил, что он лучше останется в лесу и умрет смертью героя, чем вернется на станцию, ничего не добившись. Но он не сумел уберечь свою решимость от выделяемых лесом ядов, которые просачиваются на поверхность земли ночною росой, встают туманом над болотами, нелучаются из шкур животных, пронизывают язык негров и притупляют ум белого.

Однжды ночью почувился ему звон, замелькали в темноте огни, и он почувствовал, что умирает от желания возвратиться на станцию.

И на другое утро он сбежал в Вамбунджи. А вслед ему несся ликующий крик туземцев: — «Он боится леса. Он бежит от него».

За время отсутствия Гендрикса работы на станции ни мало не подвинулись вперед. Оставшиеся женщины и солдаты все время жили в страхе нападения туземцев на станцию. Вернувшиеся не принесли с собой новой здоровой пищи; они и сами были голодны; долгие переходы истощили их; они упали духом.

Различечность белого человека передавалась всем. И каждый чувствовал, что надвигается катастрофа.

Эта экспедиция поглотила последние силы Гендрикса. Теперь он все забросил, всему предоставил идти своим чередом и углубился в размышление великой тайны: почему он одинок?

От реки он теперь бежал, из вечера в вечер борясь с желанием пойти на берег и забыться под привычный убаюкивающий шум воды. А лес—он не решался даже посмотреть в сторону леса. Целыми днями он сидел в своей полутемной столовой, подперев голову руками и бормоча про себя:

— Ведь я отрекся от реки. Почему же никто не идет ко мне?

Но никто не приходил.

Когда он замечал, что по реке плывет какой-

нибудь предмет, он поднимал голову и весь настораживался по звериному. И следил глазами за предметом, пока тот не скрывался из виду за излучиной реки, возле которой вода шумела и пенилась в водовороте. И, потеряв его из виду, тяжело вздыхал, и ему казалось, что грудь его жжет, как огнем, внутри.

Часами он сидел так, молча, и голова его все глубже уходила в исхудалые плечи. Анлетяг он совершенно потерял и иной раз за целый день не мог съесть одного сухаря. Поблизости, в маленькой бамбуковой хижине, в страхе и трепете ждавшего обеденной поры, он возненавидел. И когда негр прибегал к нему за приказаниями, Гендрикс встречал его таким взглядом, что у бедняги улетала душа в пятки.

Лишь наредка в сержанте просыпалась потребность самосохранения, — тогда он шел на станицю, где солдаты, тоже теперь работавшие молча, били, наконец, столбы для нового дома, и здесь ругался, и толкал ногами, и просто жестокировал, пока не выбивался из сил, и Момбасса или один из капратов не уводили его домой.

Однажды, когда Момбасса после такой нелепой ругани, испуганно поднимал его под руки и хотел вести домой, Гендрикс вдруг обернулся к солдатам, сидевшим на сваях, и охрипшим голосом крикнул им:

— Я, ведь, знаю, что вы потешаетесь надо мною у меня за спиной.

Но когда, дома, он попробовал представить себе эту наглую усмешку, которая мучила его, как внутренний недуг, он сам изумился, ибо ничего не мог припомнить, кроме черных, как уголь, глаз, полных испуга.

* * *

Гендрикс лгал, когда уверял себя, что он отрекся от реки. Мысленно он все время следил за движением воды, но мысли его не шли дальше излучины—дальше все было окутано туманом.

Но настал день, когда луч света прорезал хаос; словно разорвалась пелена, застилавшая даль, и вся душа Гендрикса наполнилась воспоминаниями о Болете. Правильная, размеренная жизнь большой станции вдруг показалась ему такой отрадной, такой манящей. Он видел, чисто выбеленные, нарядные дома, длинные выметенные аллеи, общий стол в офицерской столовой—и все это представлялось ему потерянными раем.

Но в эту мирную картину внезапно ворвались алые молнии и, как удар грома, над самым его ухом прозвучали грозные слова:

— Как бы вы далеко ни забрались, помните, что вы не можете забраться так далеко, чтоб я не видел, что вы там творите.

Гендрикке вздрогнул от испуга и сделал движение, чтоб спрятаться, но тотчас же сообразил, что в этом жалком домишке негде даже укрыться от грозы. И, снова упав на стул, простонал дрожащим голосом:

— Но, ведь, я же ничего дурного не делаю.

И вдали грозным эхо прозвучало: «Ниче-го!»—но этот отголосок исходил словно из глубины его души.

Сержант склонил голову на руки; ему казалось, что он умирает. Но гроза пронеслась мимо, и Гендрикс разрыдался—в первый раз с того дня, как он прощался с близкими на людной пристани в Антверпене. И слезы облегчили его.

И воспоминания унесли его далеко на родину, в милую узенькую улочку, где можно было укрыться от всех бурь на свете.

* * *

Но сила и воля к жизни уже не возвращались к нему. Он продолжал чахнуть, и все на станции приходило в упадок.

Туземное население, за последние годы пережившее много бед, воспрянуло духом, узнав, что творится в Вамбунджи. Неудача и отступление белого убедили воинственных соседей, что им достаточно сделать усилие, чтобы освободить страну от чуждого ей существа, засевшего у реки и хотевшего насильно заставить их работать.

И однажды утром станция подверглась нападению. Момбасса собрал вокруг себя солдат и отрядил десюток их под начальством кашрилы для охраны дома Гендрикса.

Белый человек лежал в постели и бредил. Его трясла лихорадка. Он слышал крики и выстрелы, и ему казалось, что это наступает конец мира.

Момбасса дрался, как лев. Он застрелил пятерых, нескольких проткнул штыком и двоих удушил собственными руками.

Когда рассвело, и туземцы отступили, он пошел к сержанту доложить, что двое солдат тяжело ранены, а несколько женщин и один ребенок убиты.

Гендрике не встал с постели. Он был убежден, что умирает. Так же думали и солдаты. Беспорядок и смятение на станции росли. Чуть на каждую ночь гарнизон сбегался весь на площадь, поднятый на ноги ложною тревогой, не зная даже, почему его клинут—потому ли, что умер белый человек, или потому, что напали туземцы. Момбасса каждую ночь ставил у дома Гендрикса трех часовых. Его сторожили, как остатки фетиша. Из глубины дома доносится порой тяжелый вздох, походивший на последний вздох умирающего.

Момбасса, исхудавший под бременем ответственности, лежавшей на нем, часто заходил к

больному, садился к нему на кровать и заводил с ним разговор, слиясь впитать в себя последние крохи мудрости, которую таят в себе белые.

Однажды Момбасса предложил сержанту поместить у себя в доме—благо места много—больных солдат, а также женщин и детей. А сам он с здоровыми солдатами ночью в лодке пустится вниз по течению, где-нибудь в укромном местечке высадится на берег и попробует усмирить мятежников, а то от них житья не стало.

Гейдрикс покачал головой. Но это навело его на мысль...

Весь день он лежал смирно, отчаянно борясь в душе с безумным желанием, как невидимый вампир сдавшим его ослабленную волю.

Всю ночь его мучило сознание, что он лежит совсем один в пустой и темной комнате, и казалось, вот-вот, он очутится в абсолютной пустоте.

В щели окон проник слабый свет. Гендрикс с трудом встал и отворил ставни.

По небу плыла луна—Ипрская луна. Издали, чудилось ему, доносились стук экипажей и деревянные башмаков по панели. Наверное, отсюда совсем недалеко до дому.

Он кликнул горниста и велел ему играть тревогу. Но еще до того, все обитатели станции вскочили с постелей и поспешно оделись. И при первых же звуках рожка устремились к дому белого.

Гендрикс приказал солдатам вытащить из воды затонувшую дырявую лодку и выкачать из нее воду. Момбасса пытался было ему доказывать, что это преступление — сажать людей в такую лодку, прежде чем ее основательно починят. Но Гендрикс только спросил его:

— Ты боишься?

— Нет, — ответил Момбасса. — Смерть мне не страшна.

Принесли из склада запасные мешки. Гендрикс приказал перенести в лодку весь свой багаж. А затем велел сесть в лодку двенадцати пяти солдатам, а также бою и повару, хотя Момбасса клялся душой своей матери, что будь эта лодка цолая, она и то не могла бы поднять больше двадцати человек.

Некоторые из солдат колебались.

— Вам / страшно идти на войну? — спросил Гендрикс и указал рукой по направлению к лесу.

Тогда все вошли в лодку, и она поплыла по течению.

Вода тотчас же проникла в нее и наполнила всю ее нижнюю часть.

— Мы тонем,—шептали солдаты.

Гендрикс сидел на складном стуле под нависшим навесом, за спиной у него были навалены, как попало, ящики и сундуки. И он только кричал:

— Вперед!

В звуке этого слова был соблазн, заставлявший его повторять это слово опять, пока хватало голоса.

Солдаты опустили весла в воду и стали отталкиваться от берега. Если уж судьба им толкнуть, так скорее бы! Смерть не так пугала их, как это привидение из чужой, далекой страны, с его дикими сильными выкриками.

Гендрикс сидел по шиколку в воде и думал о том, что, когда они доберутся до первой остановки, про которую говорили накануне Момбаса, он только укажет рукою вперед и скажет:

— Мы едем дальше.

И вдруг пугался мысли:—что скажет об его поступке начальник округа? Ведь он не имеет права делать того, что делает. Какое же ему будет за это наказание?

Может быть, смерть?

Но и этот огонь погас — в душе не осталось больше горячего материала. И снова затосковала душа его по избавлению, к которому несла его дырявая лодка. Он протянул

руки к реке, озаренной луной, и всеми остатками умирающей мысли уцепился за решение—сегодня же, во что бы то ни стало, добраться до роины.

Это усилие утомило его, и он уснул—глубоким, последним сном.

Солдаты бросили весла. Они видели, что конец близок. Лодка до краев была полна водой.

Заметив маленький челнок с двумя туземцами, плывший навстречу, они окликнули встречных, просто для того, чтобы услышать человеческий голос. Ответом был крик испуга. И чужая лодка, как спугнутый ночью зверок, метнулась к берегу. Оба сидевшие в ней выпрыгнули прямо в воду и, с плеском рассекая ее ногами, скрылись в лесу.

Впереди маячило что-то белое—ветка засохшего дерева, сброшенного лесом в воду. Течение гнало лодку к этому месту. Солдаты не боролись с течением. Все равно, от судьбы не уйдешь.

Когда лодка толкнулась о пень, волна со всем захлестнула ее, она закружилась и пошла ко дну.

Гендриксу снилось, что все вокруг него красного цвета. Он не понимал почему, да и не легко было понять. То была кровь первобытного леса, усиленно пульсировавшая, выталкивал из организма бедную захиревшую бакте-

рию, слишком рано утратившую связь с колонией, породившей ее, и погибавшую в одиночестве. Организмы, плохо приспособленные к жизни, всегда гибнут от недостаточного питания.

Потом он увидел перед собою темный коридор. И только когда стало светлее, узнал его.

То была узенькая улочка, где он чувствовал себя дома, потому что там все признавали его величие. Люди стояли у окон и на порогах домов и приветствовали его. А он подносил руку к шапке, сплошь покрытой золотыми галунами, и милостиво отвечал на поклоны.

На пороге родительского дома стоял, сложив на груди руки, дряхлый старик-отец в синем праздничном сюртуке и восклицал:

— Сын мой! сын мой! Слава тебе, вновь вернувшемуся в мою убогую хижину.

Сестры плача обнимали его, а он говорил им:

— Я вам всем привез чудесные подарки.

В дверях показалась тщедушная, хилая старушка, обняла его и зарыдала:

— Сыночек мой! Ты еще не забыл своей старухи-матери?

Так умер Гендрикс—умер, как хотел—смертью мученика.

Двое солдат, умевших плавать, пытались было нырнуть и вытащить белого из воды, но вернулись на берег с пустыми руками. Течение было в этом месте слишком сильное, а река чересчур глубока.

Когда через полчаса, или около того, спасенные, сидевшие на ветках деревьев на затопленном берегу, пришли в себя, они стали считать, скольких из них не хватает. Но никак не могли сосчитать. У одного выходило, что не хватает десяти; у другого—двенадцати. Третий уверял, что все живы и целы. Но другие говорили, что он не в своем уме.

Как бы то ни было, Гендрикс и Момбасса исчезли. В этом не могло быть сомнений.

Всю ночь, пока спасенные сидели так, на ветках, и ждали, чтобы их подобрала какая-нибудь случайная лодка, каждый мысленно спрашивал себя:

— Кто же виноват в этом несчастье?

Под утро один набрался храбрости дать ответ и выговорил вслух, хотя никто его не спрашивал:

— Река виновата. Река—она злая.

До этого дня его никто не считал особенно умным. Но теперь он неожиданно показался всем мудрецом.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОЛОД.

Он смотрел на свои обтянутые гамашами ноги. Желтые кожаные гамашы имели вид уже не столь элегантный, как давеча утром, на пристани, когда он только что надел их в хижине, где провел ночь. Вчера только он высадился на этой пристани с парохода, который привез его в девственный лес и ушел вниз по реке, расплескивая воду большим колесом. Он долго стоял и смотрел вслед пароходу.

А теперь смотрел на негров, которые сидели вокруг него, прислонившись спинами к деревьям. Какое это было странное чувство! — после трехмесячного путешествия впервые остаться одному среди этих туземцев, язык которых был ему непонятен. Он перевел взгляд на кусты и выше, на деревья с мохнатыми стволами, увешанные лианами и кривыми ветками, нависшими над густой порослью внизу; ветки эти были сплошь обвиты орхидеями.

Было половина двенадцатого. За четыре часа быстрой ходьбы он разгорячился, пропотел насквозь, перепачкался грязью и чувствовал, как кровь стучит у него в висках.

Он вынул из кармана письмо, полученное им из Бокаты от белого, к которому он ехал помощником, и еще раз перечитал его. Товарищ поздравлял его с приездом и давал кое-какие свои указания, которые в дороге могли пригодиться. Но в числе их было одно, которого он не понял, когда впервые прочел письмо, и сегодня точно также не мог понять:

«В пути берегите ваше железо, как бы у вас не украли его».

Что бы это могло значить? Ведь у него нет с собой никакого железа? Что за странный совет! Неужели ему правду рассказывали, будто приятель его поменялся?..

Бой *) накрывал для него столик на деревянном ящике. Что ему хочется есть — это-то он, по крайней мере, сумел объяснить своим спутникам; он еще на пароходе заучил это слово. «Ку л и а» — что значит «есть». Только что приходил к нему повар и спрашивал: «Ка-ва»? и он утвердительно кивнул головой, зная, что «кава» означает — кофе. И теперь повар сидел на корточках на выжженной коричневой земле, разводил огонь и кипятил в котелке воду.

В сущности, он чувствовал себя очень недурно. Чем больше он остывал, тем больше бодрила его влажная свежесть платья, прикасав-

*) Мальчик-слуга.

шегося к его телу. Ему только неприятно было, что эти чернокожие глазят на него, а он не умет с ними разговаривать на их языке.

Минуту тому назад, когда черный сержант уставился на него, между ними произошло что-то вроде сближения; они как бы дали друг другу понять, что оба они—люди; он сказал: «Уф!» и начал обмахивать носовым платком разгоревшееся лицо. А чернокожий сержант ухмыльнулся, оскалив белые зубы, и сказал: «Эге!»

Это было приблизительно так, как если бы он сказал: «Сегодня очень жарко».

А сержант ответил бы: «Да, жарница страшная».

Такого рода разговор был, разумеется, немного утомителен, но, по крайней мере, у белого явилось смутное ощущение, что теперь он познакомился с сержантом.

Сержант Мако приехал за новым белым из дальней станции Бокаты, отстоявшей от паромной пристани на десять дней пути, в сопровождении дюжины солдат, тринадцати носильщиков, боя и повара, и встретил его на пристани. Мако было уже не впервой встречать здесь белых, приезжающих из дальних стран; в шляпе, имеющей форму шлема, какие носят под тропиками, в новом с иголочки платье, все они казались какими-то неуклюжими и беспомощными. Покрой платья у каждого был особенный, и

Мако всегда со вниманием присматривался к нему, но, тем не менее, он знал, что дело не в платье. По платью совершенно невозможно было угадать: заболеет ли белый и уедет обратно на родину? или он умрет? или же он из тех, в начале молчаливых европейцев, которые, через год после прибытия в эту чужую для них страну, чувствуют себя в ней как дома, как будто они всю жизнь провели среди чернокожих. Мако хорошо изучил мимику и жесты всех этих новичков. Ему было знакомо и вступительное обмахивание носовым платком, этим странным атрибутом европейской культуры, и уже не раз он точно так же ухмылялся в ответ, показывая, что понимает, в чем дело.

Но всего этого вновь прибывший белый не знал. Он еще не умел разбираться в мыслях туземцев. Он только видел перед собою дикие черные лица, и, когда сержант ухмыльнулся ему, он подумал, что так скалить зубы может только животное, а не человек, хоть и понял, что этот чернокожий относится к нему дружественно. Впрочем, ему и вообще в голову не приходило, что эти дикие люди, с утловато-гибкими обезьяньими ухватками и движениями и с таким странным языком, также способны были мыслить.

Ему очень хотелось бы знать, сколько им еще надо пройти в этот день, и он искал в своей памяти слова, которое бы на туземном языке озна-

чало: «далеко». Ему помнилось, что он уже слышал это слово, но припомнить его он не мог. А спрашивать мимикой, руками и жестами ему не хотелось. К этому он еще не привык.

Бой покрыл чем-то вроде белой скатерти ящик, который должен был служить белому человеку столом. При виде ослепительной белизны этой ткани европеец невольно улыбнулся; а когда до обоняния его дошел такой родной запах горячего кофе, он и совсем забыл об окружающем.

Утолив голод, он от нечего делать, опять стал ловить отдельные слова из разговора негров, и одно из этих слов сразу вернуло его к действительности:

— «Эфеко», — сказал один.

И другой повторил: «Эфеко».

Это слово он уже слышал однажды. Ниче утром, когда они проходили через одно селение, навстречу ему вышли двое старых негров и двое других помоложе, которых он счел за вождей племени, жившего в этой деревне, и все они что-то такое говорили ему, но он ничего не понимал.

Потом он сидел между ними и силился уловить в этой путанице звуков хоть одно знакомое слово, которое могло бы служить ему точкой опоры, и при этом сам казался себе необычайно глупым и смешным.

Изю всех этих звуков у него засело в памяти одно только слово: «эфеко».

Каждый раз, как кто-нибудь произносил это слово, остальные хором повторяли его, даже голые негры, кучками стоявшие поодаль, повторяли это слово.

Белый собрался с духом и, победив в себе чувство неловкости, связывавшее его язык, обратился к неграм с вопросом:

— Эфеко не ни? — Что такое эфеко?

Один из солдат указал на большой нож, заточенный у него за поясом, рядом со штыком. ~~Сержант~~ опять ухмыльнулся и указал на ствол своего ружья. А один из присылщиков, сидевших по близости, сунул ему под самый нос пучок стрел, которые он держал в руке, и указал на тоненькие их железные наконечники, говоря:

— Вот это.

Белый перевел себе это слово. Оно, очевидно, означало: «оружие».

Но почему они так много говорят об оружии? Или они хотят отнять у него его оружие? Хотят убить его? Может быть, это — объявление войны? Или это просто означает, что чернокожие понимают, что у белого оружие лучше, чем у них? Или, может быть, это они в знак приветствия говорят об его оружии? Или же хотят дать понять, что ~~они~~ не станут пускать свое оружие в ход против белых и против солдат?..

Сержант видел не лицо белого человека, что он не понял сказанного неграми и теперь раздумывает над смыслом их слов. И, когда голубые глаза снова остановились на нем, он протянул белому цепочку от своего штыка, демонстративно тыча пальцем в белое железо.

Белый улыбнулся и кивнул головой, как бы говоря: «Да, да, я понял». И чтоб убедить сержанта, вынул из кармана свой нож.

Мако залился хохотом, больше походившим на лошадиное ржание, свирепо поблескивая своими белыми зубами, и опять сказал «Эге». Но все-таки он не был уверен, что белый понял его, как следует.

Из всех проблем, над разрешением которых трудился белый человек в течение десяти дней пути, эта последняя, связанная со словом «эфеко», наиболее интересовала его.

Ему представлялось возможным, что это слово могло быть замаскированным объявлением войны. Страх он, разумеется, не испытывая, но все же ему не улыбалась мысль быть изменнически умерщвленным вместе со своими солдатами в темной чаще девственного леса.

В деревне, где они остановились на ночь после первого дня пути, повторилось то же, что было утром. Старый седовласый негр обратился

к нему с речью. Весь согнувшись и протягивая к нему руки, старик стоял перед ним, как нищий, и «Пете Митано» — так называли солдаты нового белого... потому что он был поручик и на погонах у него было по пяти золотых нашивок — почувствовал себя совсем сконфуженным, прочитав в глазах старика какую-то мольбу и тайное горе. Видя, что белый не понимает его, старик взял из рук стоявшего за ним нож и показал его «Пете Митано». Нож был, действительно, замечательный в своем роде. Ручка у него была большая, но лезвие такое маленькое и стертое от времени и долгого употребления, что «Пете Митано» не мог понять, куда и на что может годиться такой нож.

Подошел сержант и начал объяснять ему, в чем дело, но безуспешно. «Пете Митано» не понимал его.

Во всех прочих деревнях повторялось то же, те же речи и те же мольбы, и «Пете Митано», в конце концов, перестал обращать внимание на молящие взоры и жалобные взывания к нему чернокожих, порешив, что не стоит ломать себе над этим голову, — в Бокате, ведь, все объяснится.

Сам он чувствовал себя превосходно, с каждым днем все лучше, и уже желал, чтобы путь этот длился вечно. Утром он поднимался чуть свет, раньше, чем солнце успевало потревожить мирный сон обитателей деревни. Ходить он мог

без конца, не уставая, и, когда они по вечерам останавливались на ночевку, он даже не чувствовал себя истощенным. Все эти переживания были новы для него, полны новых впечатлений. Ново было шатать по росистым лесным тропинкам и поднимать глаза вверх к вершинам деревьев, стараясь разглядеть между ними кусочек голубого неба или, найдя его, вливать глазами смягченный, зеленоватый солнечный свет. Когда же он выходил из болота, нижняя поросль исчезала, и между голыми стволами деревьев открывались широкие просветы, вся душа его преисполнялась бесконечного ликования: ему хотелось петь, дурачиться и кричать неграм всякие смешные слова. Он не делал этого только потому, что стыдился. Ново было также переправляться чуть не в брод через большие болота, где местами пальмы и высокие папоротники образовали настоящие туннели, где от вершин спускались вниз вертикально, как натянутые веревки, длинные корни и уходили в болото, а по вековым стволам карабкались вверх орхидеи и мхи.

От времени до времени ему удавалось застрелить птицу или обезьяну. Эти охотничьи трофеи он поровну делил между своими людьми, которые прозвали его «Бума и'деке» — истребитель птиц.

Постепенно, в пути, он знакомился с языком, узнавая все больше и больше новых слов. Ка-

ждый день ему раскрывалось практическое значение того или другого загадочного раньше слова. Постепенно он осваивался и с чернокожими, и привыкал к ним, особенно, когда ему случалось доставить им маленькую радость и самому порадоваться при виде их сияющих удовольствием лиц.

Однажды им перебежал дорогу жирный дикий кабан, прорвавшись сквозь ряды идущих. И хотя белый как раз в это время фантазировал, представляя себе девственный лес огромным залом с золотыми колоннами, пронизанными солнечным светом, и рисуя себе свою собственную участь в самых грандиозных формах и ярчайших красках, он все же, не медля, выхватил двустволку из рук идущего за ним чернокожего и, прежде чем солдаты успели опомниться, «Бума н'деке» уже прыгнул в кусты, в догонку за диким кабаном.

Когда, миг спустя, раздался выстрел, и кабан, обливаясь кровью, упал неподалеку от дороги, негры подняли неистовый восторженный крик; и «Бума н'деке», сам дивившийся своей удаче, стоя перед убитым животным и глядя на радостные смеющиеся лица вокруг, начал понимать, что в глазах своих солдат и носильщиков он становится героем.

Дикого кабана разрезали на части; каждый получил свою долю, тщательно завернул ее в

тистья, перевязал лианами и подвесил себе на шею или же уложил в корзину.

Это событие неизгладимо врезалось в память чернокожих, и «Бума н'деке» получил другое, еще более почетное прозвище: «Бума н'сомбо» — истребитель диких кабанов. И это прозвище осталось за ним, хотя потом он в жизнь свою не убил уже больше ни одного кабана.

Отряд двинулся дальше, но у негров только и было речи, что о «Бума н'сомбо»; белый видел это по лицам и жестам своих людей. И это не мало льстило ему.

Но и увиваясь счастьем, он не мог не заметить, что местность, по которой они теперь проходили, была очень бедная. Жители были и меньше ростом и тщедушнее тех, которых он видал в селениях приречной области. И хижины здесь были убогие, местами полуразвалившиеся. И чем дальше он думал об этом, тем больше укреплялся в своем предположении, что такое положение вещей неестественно и ненормально.

Когда он однажды, на привале, сидел в одной такой деревушке, возле бамбукового шалаша, где ему строили постель, мимо него случайно прошел сержант Мако. Мако указал на поля и со-страдательно покачал своей черной курчавой головой.

— Очень маленькие — немножко.

И при этих словах раскрыл рот и сделал вид, будто бросает туда что-то. И пояснил:

— Голод—есть нет.

«Бума н'сомбо» вспомнил убогие лачуги и худобу жителей и понял, что земля не дает им достаточно пищи.

— Разве почва здесь такая неплодородная?—спрашивал он себя.—Неужели тут вся причина в неурожае? Разве у них нет семян?

— Почему?—спросил он.

— Э ф е к о,—был ответ.

При этом сержант опять указал рукой на щечку своего штыка, и европейцу, постепенно научившемуся понимать изменчивое выражение черных глаз Мако, показалось, что глаза эти блеснули страхом.

И вдруг ему стало ясно, что «эфеко» должно означать: «железо».

Железо!

— Разве у здешних людей нет железа?—спросил он у Мако.

— Очень, очень мало, — ответил сержант и уможил, как бы испугавшись, что он сказал слишком много.

В последующие дни «Бума н'сомбо» много думал.

В чаще чуждого ему девственного леса он

сделал открытие, и радость от этого сознания шкочущей волной заливала его душу, уже захваченную массой новых впечатлений. Ноги его мерно и быстро шагали по росистым лесным тропинкам, а изумленным глазам представлялись все новые и новые видения.

«Железный голод».

Неужто вправду на свете есть такой таинственный недуг, который зовется железным голодом? Он старался проникнуть в эту тайну, прилагая к этому всю свою вновь пробужденную энергию. И за завтраком, и на после-полуденных привалах в деревнях, он думал только об этом. И, прежде всего, решил изучить язык, чтобы все понять. Вместо того, чтобы по вечерам отдыхать, набираясь сил, он садился, с записною книжкой в руках, а сержант и другие негры стояли вокруг него и называли ему предметы, один за другим. Даже в пути он не переставал работать: заучивал наизусть записанные слова или вписывал в книжку новые, которые он запомнил из разговора солдат. А по ночам, вместо того, чтобы спать, разговаривал сам с собой на языке чернокожих.

Зато уже дня через два, к великому изумлению негров, начал лучше понимать их и объясняться с ними более или менее понятно для них.

Когда теперь, на привалах, при нем прокиносилось слово «эфеко», оно не звучало для него

чем-то мистическим, смутным, животно-грубым, свойственным только дикарям.

Это слово означало «железо» и ничего другого.

И теперь оно звучало в его ушах совсем по другому, иной раз так же заманчиво и соблазнительно, как «золото».

— Где же ваше железо?—спросил он однажды.— Или у вас его никогда не было?

— Очень, очень много было,—отвечали негры.— Но теперь нету.

И они принялись пространно рассказывать ему, как соседнее племя покинуло родину, ушло на Запад и поселилось в чужой стране, с жителями которой оно теперь ведет непрерывные войны. Эти люди и унесли с собой железо. Много лет подряд воинственная молодежь выселялась из родных деревень, похищала оружие и орудия, сделанные из железа, и убегала с ними.

А теперь железо в этом краю иссякло, и у них остались только старые, зазубренные и стершиеся ножи; да и то их на ночь приходится прятать под постель, вначе, того и гляди, кто-нибудь украдет нож и сбежит с ним на Запад.

— Откуда же вы в прежнее время получали железо?—спрашивал «Бума н'сомбо».

Негры таинственно указали на север, и один из стариков тихо сказал:

— Пути отрезаны.

Приезжий допытывается:

— А у белого в Бокате разве нет железа?

Негры молчали и угрюмо смотрели в землю или косились в сторону. Только один мальчуган, стоявший поодаль, за пальмовым деревом, ответил:

— Много!

Остальные с ужасом воззрились на него. «Бума н'сомбо» вспомнилось письмо, полученное им на пароходной пристани, и он посмотрел в глаза Мако. Но сержант смотрел в другую сторону.

Когда вечером «Бума н'сомбо» развалился на своем раскидном стуле, ему стало казаться, что он находится, в таком уголке земного шара, где железо имеет совсем иное значение, чем во всех прочих местах, что это — область в несколько сотен квадратных миль, где нет ни кусочка железа, и от этого она так бедна и бесплодна.

Заходящее солнце окрасило все вокруг алым фантастическим светом. И чем больше раздумывал белый, тем больше разрасталась в его голове эта мысль об отсутствии железа, до гигантских размеров. Он сам не знал, откуда у него взялась такая мысль, но теперь ему было ясно, что жизненная сила населения тает от этого страшного голода, которого он до сих пор не знал даже по имени: железного голода.

Теперь он понял, на что ему жаловались старейшины в деревнях. Они просто рассказывали ему, что деревни их все больше беднеют и вымирают от страшного, мучительного железного голода.

Пытливая мысль «Бума н'сомбо» извивалась и скакала вокруг, как испуганный зверок. Он, до тех пор не сталкивавшийся с первобытными народами, неожиданно увидал, как эти первобытные народы теснятся около железных руд, скрытых в недрах земли.

И эта мысль захватила его с страшной силой. Как же обстоит дело с железом там, дома, в старой Европе?—Там, ведь, гоняются только за золотом. У него потемнело в глазах. Ему стало жутко.

Ему казалось, что он проваливается сквозь землю, вместе со своим стулом. В то время, как пальмовый лес купал тонкие стволы свои в темном зареве уходящего солнца, человеку казалось, что шар земной несется в мировом пространстве мимо него, в каком-то тумане, дрожащем от звона и лязга железа. Он видел, как народы хватают и тащат к себе железо, чтобы обеспечить свое существование,—видел огромные кучи, горы железа, такие тяжелые, что земля расступалась, не имея силы сдержать их. Он видел народы, подобно гигантским магнитам, высасывавшие железо

из гор, принадлежавших другим племенам. И ему мерещилось, что борьба народов сводится только к одному—к разбойничьему набегу на железо, скрытое в недрах земли, как будто все усилия, весь труд человечества были направлены лишь к тому, чтобы захватить и утащить к себе побольше железа. И он видел, как отдельные нации, на железных пьедесталах вырастали из тьмы времен все выше и выше.

Здесь, в этом краю, наступил отлив, так как железо, притягиваемое далекими невидимыми колоссами, ушло своим невидимым путем, через лек.

И он решил, что ему предстоит великая задача.

Он даст этим людям столько железа, сколько необходимо им для поддержания их жизни.

Но сколько им нужно? И откуда он возьмет столько железа?..

Весь следующий день он неустанно думал об этом и решил, тотчас же по прибытии в Бокату, поговорить об этом с белым, которого он должен заменить, и заинтересовать его этой задачей, напоявшаей его все большим и большим энтузиазмом.

Но вышло совсем иначе, чем предполагал «Бума н'сомбо». На станции он нашел только пись-

мо на свое имя от лейтенанта Морона, начальника станции. Этот последний сообщал ему, что принужден был, по делам администрации, временно отлучиться, но скоро вернется. А пока просит товарища располагаться, как дома, и ждать его возвращения.

«Бума н'сомбо» показалось странным, что Морон вынужден был отлучиться как раз накануне его прибытия. Но негры, служащие на станции, до некоторой степени объяснили ему это, рассказав, что Морона унесли на носилках, что он сильно захворал, а когда ему случается захворать, он нередко предпринимает такие экскурсии.

«Бума н'сомбо» оставалось одно—ждать, сдерживая свое нетерпение. По утрам он производил ученье солдатам, а после обеда обходил мастерские, или же гулял по плантациям и по окрестностям.

Во время этих прогулок ему не раз бросался в глаза маленький каменный домик без окон, стоявший в стороне от всех прочих, близ бананового питомника, на самом краю крутого каменного склона, с которого, между деревьями, можно было разглядеть большое болото. У подножия этого склона протекал небольшой светлый ручеек, тот же самый, что и за караулкой. Однажды «Бума н'сомбо» пришло в голову, что, хотя от караулки до этого домика расстояния около трехсот метров, и сток весь порос деревьями, тем

не менее, из одного домика можно было видеть другой. С этой стороны станция, должно быть, почти неприступна. И однажды у «Бума н'сомбо», прирожденного исследователя и воина, явилась мысль — внимательно осмотреть всю окрестность и определить наиболее уязвимые места, на случай нападения. Он уже хотел было спуститься по крутому откосу и напрямиком, через ручей, пробраться к уединенному домику, когда один из караульных нагнал его и удержал. «Бума н'сомбо» спросил, в чем дело; тогда солдат показал ему, что весь откос утыкан острыми деревянными кольями, воткнутыми в небольшие ямки и тщательно прикрытыми увядшими листьями.

Еще и другое обстоятельство дивило «Бума н'сомбо» и возбуждало его любопытство. На небывшей веранде, обегавшей вокруг уединенного домика, неизменно сидели двое старых негров, с виду обыкновенных поселян, но с ружьями в руках. Ему непонятно было, чего ради так старательно охранять этот дом; но расспрашивать он не хотел: — скоро, ведь, придет лейтенант Морон и сам все объяснит ему.

Однажды, идя по банановому нитоманьку, по направлению к каменному дому, он увидел перед собой, на повороте, негра, видимо, идущего туда же; за спиною у негра была корзина, в которой лежала дюжина больших, только что вы-

кованных ножей. Старик шел прямо к домику, и «Бума н'сомбо», сгорая от любопытства, пошел за ним.

— Кто ты такой?—спросил он, когда они поравнялись с негром у дверей дома.

Старик поставил на землю свою корзину, повернулся лицом к белому и ответил, ударяя себя кулаком в тощую грудь:

— Я—Кинема, предводитель всех кузнецов. Я принес новые ножи.

Тем временем один из часовых вынул связку ключей, отпер три замка висевших на двери, и «Бума н'сомбо» вошел.

Кругом, на широких полках, лежали сотни ножей, топоров и мотык. «Бума н'сомбо» с удивлением созерцал эти неожиданные богатства; и, выйдя снова на солнце из этого домика, пропитанного влажным и холодным запахом железа, он сказал себе:

— Теперь я знаю, что лейтенант Морон сумасшедший.

Он с'ездил дня на два на охоту, и, когда вернулся, ему сказали, что лейтенант Морон уже дома, но что он страшно исхудал—стал тонкий, как палец и лежит «при смерти», как уверяли негры. «Бума н'сомбо» поспешил в дом Морона и велел вести себя прямо в спальню.

Ему стало жутко, когда он увидел больного. Череп у Морона был совершенно голый, обтянутый морщинистым желтым пергаментом. Уже помутившиеся, широко раскрытые глаза ушли глубоко в несоразмерно большие орбиты, грудь дышала тяжело и прерывисто.

Когда «Бума н'сомбо» появился в дверях, умирающий протянул ему свою костлявую руку и тихо выговорил:

— Я отлично знаю, что вы думаете. Но вы ошибаетесь.

Хотя «Бума н'сомбо» и видел, что перед ним умирающий, все же такой прием показался ему обидным.

— Знаете ли вы,—с видимым усилием продолжал Морон,—сколько железа нужно негру для своего пропитания? Я это знаю точно. Если вы ему дадите хоть на 50 граммов больше, он воспользуется этим, чтоб начать убивать.

«Бума н'сомбо» стало еще более жутко, когда он увидел, как блеснули при этих словах уже померкшие глаза.

— Я покорил этот край. Это стоило крови. Они хотели убить меня. А они умеют убивать. Это были войны. Но разве мне когда-нибудь давали достаточно солдат, для охраны моей личности и интересов государства? Нет, я был предоставлен самому себе. Вы, может быть, думаете,

что я был жесток? Нет; но, если кому-нибудь из нас двоих необходимо умереть—тебе или мне,—при этих словах он снова поднял руку,—так уж лучше умирай ты, а не я. Я не хочу умирать.

«Бума н'сомбо» попытался было успокоить его, но Морон, изнемогая от усилий, продолжал:

— Дайте мне высказаться. Поймите же. Туземцы вначале были слишком сильны. Тогда, я напал на мысль, которая была для меня спасением. Я начал исподволь, когда они еще думали, что у них железа достаточно, выменивать оружие и земледельческие орудия на бусы и бумажные материи; а когда они стали отказываться от меня, и когда я почувствовал, какую важную задачу я взял на себя, тогда я пошел к ним с солдатами и сам взял все, что нашел. Что? Вы думаете, может быть, что я боялся этих трусов? Я?! Знаете, как они меня прозвали?—«Вор, крадущий железо». Вот тогда-то они и начали сами красть железо и убегать с ним на Запад, потому что почувствовали, что я сильнее их. Бежали все, кто только успел запасться оружием. Те же, кто не успел удрать, тут и останутся, потому что они обезоружены. Я отобрал у них всех кузнецов: все они работают на меня одного. Они перековывают отобранное оружие на орудия и плуги. Вы понимаете?

В волнении Морон приподнялся на локте и

теперь, в изнеможении, снова упал на подушки, не сводя испытующего взора с лица «Бума н'сомбо». А тот допытывался:

— Но почему же вы держите здесь взаперти все эти орудия? А население голодает.

— Если бы я выдал им плуги, они перековали бы их на мечи. Этих дьяволов можно укротить только голодом. Когда они поймут, что я здесь господин, тогда получат и плуги. Вы все еще думаете, что эти четыре года, что я прожил здесь, я все время дрожал перед ними? Нет, наоборот, эти негры боялись меня. Оттого они и не решаются произносить мое имя. Оттого и хотят убить меня.

С минуту он лежал молча; помутившийся взор блуждал; в груди у него kloкотало. Потом он еще раз повернулся лицом к «Бума н'сомбо» и выговорил:

— Старый кузнец говорил мне, что вы видели мой арсенал. Там ничего нельзя трогать. Все это моя собственность.

«Бума н'сомбо» не выдержал. Агония Морона уже не внушала ему почтения; он принудил себя взглянуть в потускневшие глаза своего предшественника, таившие в себе адские муки, в которых виноват был сам же Морон, и выговорил голосом, который он хотел сделать твердым, но который, однакож, дрожал:

— Мой долг сказать вам, что вы ошибаетесь.
Все это принадлежит мне.

Но Морон, должно быть, уже не слышал.
Взор его погас, и в груди у него уже не хри-
пело.

— — — — —

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОНГО.

Солнце заливало трепетным серо-желтым светом маленькую негритянскую деревушку Мопото. Было так жарко, что на банановых деревьях, росших беспорядочными группами позади низеньких хижин и между ними, большие, травянисто-зеленые листья свертывались в трубку и висели лохмотьями. Точно также увяла и высокая, в человеческий рост, маниока, тянувшаяся сплошь полем зелени от деревни до опушки леса. Даже немногие зонтичные пальмы с огромными листьями, пощаженные топором и считавшие своей обязанностью отбрасывать тень на поля, среди которых они росли, признали себя побежденными и свесили вертикально вниз свои серо-зеленые листья-розетки и колючки белых веток, похожих на канделябры.

Кровли убогих хижин, крытых пальмовыми и сакрофиниевыми листьями, до того высохли, что кончики жестких листьев высывались наружу, и слышно было, как они шушали и шелестели от малейшего ветра.

В такую погоду местный деревенский юмочист имел обыкновение указывать пальцем че-

рез плечо и говорить: «Г а м б о н е й е м о й» — что означало «Солнце — злодей».

Был полдень, и солнце стояло в зените, прямо над Мопото. Оно точно объявило войну земле, грозя утопить в густо-тяжких потоках лучей все, что жило. Обыкновенно в эту пору дня Мопото замирало в безмятежном покое, и тишина едва нарушалась легким беззвучным стуком глиняной и деревянной посуды в руках женщин, хозяйничавших в хижинах.

Но сегодня иначе. Сегодня в Мопото царил лихорадочное возбуждение. Посреди желтой песчаной площади, под развесистым тенистым деревом, сидел вождь и старшина деревни, старый Йоло, серое тело которого все было покрыто морщинами. И вокруг него все именитые старцы Мопото. А эту группу сидящих небольшим кружком обступили полуобнаженные негры — женщины, мужчины и дети, жадно вынюхивающие всякие новости. Все они вспотели от жары, их спины и плечи лоснились жирным блеском. И не было на деревне такой лачуги, обитатели которой не высовывали бы голов из-под низких крыш и не перекликались бы с сидевшими на площади. К такой группе примыкали все новые и новые любопытные, в то время, как некоторые из сидевших на площади, найдя, что они достаточно жарились на солнце, довольные и разгоряченные уходили домой.

Из Балала, соседней с Мопото деревни, лежащей на небольшой речке Лоло, пришла весть, что Понго, сын старого Якулы, возвращается домой.

Прошло уже добрых три года с тех пор, как Понго покинул родительский дом. В один прекрасный день ему вконец опостыдела монотонная и праздная жизнь в маленьком лесном уголке, и он ушел из Мопото, даже не простившись с отцом, старым ворчливым Якулой—ушел в Балала; а там ночью украл маленькую одно-весельную лодку, поплыл вниз по течению и благополучно добрался до станции Ямбайя.

Перед своим уходом из Мопото, он рассказывал товарищам, что хочет пойти в солдаты; и другие солдаты, вернувшиеся из Балала домой за три года, рассказывали, что Понго служит солдатом, и что его видели на незнакомой реке, очень большой, с мистическим именем: «Бар». Один солдат из Балала, кичившийся тем, что заучил дюжину французских слов, уверял, будто река эта зовется также «Нилом»; а по словам другого солдата, тоже человека бывалого, от Мопото до этой реки надо было ехать три месяца.

Йоло е утра отправил двух человек в Балала, чтоб они помогли Понго донести домой через лес его сундуки. Деревушке еще впервой доводи-

лось принимать возвращавшегося со службы солдата, и жители ее не совсем ясно представляли себе, сколько именно сундуков, полных материй, бус и слитков желтой меди, мог заработать солдат за три года службы. Некоторые думали: пять. Но Кондо, молодой парень, выдавший Ямбайю не раз, так как его часто посылали туда из Мопото с каучуком и пальмовым маслом, побывавший и в солдатских бараках и ослепленный роскошью всех, ярко-цветных материй и медной утвари, которые он там видел,—Кондо утверждал: сто. Правда, Кондо был человек вообще ненадежный и притом обладавший необузданною фантазией; хотя он высказывал свое утверждение самым положительным и правдоподобным манером, слушатели всетаки пожимали плечами, что ясно видно было по движениям обнаженных мускулов на их спинах. Когда Кондо выговорил это священное и неприкосновенное число:—сто, все, стоявшие и сидевшие, разом повернулись к нему, причем каждый сделал кислую мину, оттянув углы рта к подбородку, и с негодующим недоверием уставился в угол. Большинство думали про себя, что дюжину-другую сундуков солдат все же, наверное, успел накопить.

Старый Йоло, тонкая лисица, мотал себе на ус все, что говорила молодежь. Наиболее образованные, принесшие из Ямбайи новые обороты

речи, спорили о цифрах: 12 и 14. Йоло уселся на бревне поудобнее, прислонился к дереву, поджал под себя свои старые, серые, костлявые ноги, оперся одной рукой на острое колено, а другой взял себя за покрытый реденьким белым пушком подбородок, и, среди всеобщего безмолвия, выговорил.

— Штук тринадцать, наверное, будет.

Решения Йоло всегда пользовались большим весом, так как в юные годы он приобрел репутацию мудрого истреблением слабых и безоружных, и ему все еще верили, хотя справедливость его приговоров и была несколько подорвана белым человеком в Ямбае.

Должно быть, и в самом деле, тринадцать.

С опушки леса, с того места, куда выходила лесная дорога из Балала, бежал человек. Он прибежал, чтобы предупредить, что Понго уже близко. Весть эта быстро разнеслась по всем хижинам, и все, кто еще сидел по домам, повыползли оттуда и побежали на залитую солнцем площадь, чтобы присоединиться к толпе, собравшейся под большим деревом.

Старый Якула на радостях напялил на себя все имущество: пояс из кожи антилопы, грязный кусок материи, служивший ему передником, украсил свой лоб медным шитком величиною с блюдечко и шею свою ожерельем из человеческих

зубов. Якула сам по себе был личностью совсем незначительной и в деревне не играл никакой роли. Он был беден и имел всего только одну жену — и ту старую и негодную, так что ее нельзя было даже продать. Только эта одна и осталась у него от целого маленького стада здоровых, лоснящихся от сытости бабенок, которых он в лучшие дни звал своими женами. Трех из них у него выторговал и похитил обманом. Йоло, ничего не заплатив за них, а четвертая сбежала с его вторым сыном в чужую страну, где эту скверную бабу и сели, в наказание за ее грехи.

Но сегодня никто не сказал бы, что Якула не принадлежит к лучшему обществу в этой деревне. Он, обыкновенно, скромно стоявший во втором или в третьем ряду, когда жители деревни собирались на площади по случаю какого-нибудь торжества, теперь протеснился вперед и стал возле Йоло, который уже много лет не удостоивал его и взглядом с тех самых пор, как он ухитрился, обманом, в три приема, отобрать у бедняка целых трех жен. Маленькие колючие глазки старого Якулы самодовольно пооблескивали; он был так горд, что ни на кого и глядеть не хотел, и тонкую нижнюю губу подтянул к самому носу. Обыкновенно, деревенская молодежь безнаказанно потешалась над ним; он, хоть и злился, но принужден был терпеть это. Сегодня

же с ним было так близко, что он слышал, как Йоло говорил:

С...
Йоло, по...
ла реши...
челости...
за ними...
Вот...
Мале...
синей х...
хо наде...
ках, вы...
группе...
иники...
несли н...
Йоло...
шему, д...
Якула п...
лбу, са...
жить т...
Солд...
щелкну...
испуган...
козырь...

же с ним были шутки плохи; он уже дважды больно пнул своей тощей, длинной ногой одного из мальчишек, подошедшего к нему слишком близко.

С опушки леса доносились громкие крики. Йоло поднялся к бревну и вышел из круга. Якула решительно шагнул вперед, стиснул беззубые челюсти, и пошел с ним рядом. Остальные шли за ними. Вот он, Полюс.

Маленького роста, молодцоватый, солдат в синей холщевой форме и красной фуражке, лихо надевой на бекрень, с длинной палкой в руках, вышел из лесу, и направился к маленькой группе. За ним, медленно, гуськом, шли носильщики с корзинами и сундуками, которые они несли на палках, по двое.

Йоло еще издали замахал рукой новопривышему, в знак приветия, и радостно оскалив зубы. Якула поправил ожерелье на шее и щиток на лбу, самым серьезным образом готовясь пережить торжественнейшую минуту своей жизни.

Солдат подошел к группе, круто остановился, щелкнул босыми подошвами, так, что свита его испуганно шарахнулась назад, приложил руку к козырьку фуражки и молвил:

тлю со-
рел ни-
только
к что се
одна и
ада здо-
к, кото-
ми. Трех
обманом.
етвертая
страну,
занье за
Йула не
и дерев-
зо что-
дерзину
какого-
вперед и
не удо-
пор, как
отобнять
колючие
поблески
и глядеть
инул к са-
молодежь
хоть и
Сегодня

— Мое имя—Понго.

Йоло сгорбил спину, подал правую руку солдату, прикрыл ее левой и, сердечно пожимая его руку, сказал:

— Это ты?

Якула же бормотал, весь дрожа:

— Понго, Понго, Понго, Понго!..—И все время тянул сына за руку. Йоло тянул за другую.

Остальные, разинув рты, глазели на Понго. Какой он черный и прямой!—настоящий солдат из Ямбайи. Татуировки на нем никакой; на лице и на шее ни пятнышка; а глаза боьиные, блестящие, как у вождя. Но интерес к внешности Понго довольно скоро остыл и сосредоточился на его багаже. Мальчики, научившиеся считать, украдкой считали на пальцах, сколько же с ним вещей, подталкивая друг друга локтями и шопотом перебраниваясь между собой из-за цифр.

Старый Йоло, как истинный вождь, с одного взгляда выяснил себе положение. Сундуков было всего три и пара корзин смешанного содержания, да еще несколько свернутых цыновок с разной утварью.

Всего три сундука! Понго на минуту упал в глазах Йоло, но старик был человек неслепой и привыкший соображать про себя.—Ведь и в трех сундуках могло найтись не мало ценных вещей.

Он пригласил Понго присесть на бревно под деревом собраний и молвил:

— Ты можешь жить у меня. У меня есть пустая хижина.

Якула, в свою очередь, выговорил, протяжно, негромко и отечески-ласково:

— Ты можешь жить у меня, у твоего отца.

Мальчишки захихикали; женщины с любопытством вытянули шеи. Неужто этот молодец-солдат захочет жить в дачуге бедного, старого Якулы?

Понго раздумывал, обводя взглядом своих прежних односельчан. Все они были голые или полуодетые; все оборванные, грязные, уродливые и глухие. Как он мечтал об этом возвращении в родную деревню, из которой он бежал тайком, словно какой-нибудь бушмен! Но не так он представлял себе свое возвращение. Правда, лица все были знакомые, но не хватало чего-то неуловимого, о чем он тосковал все эти три года. Слишком просты были эти люди, и не радовало его свидание с ними.

Слишком они были грязны. Его собственный отец, несмотря на свой праздничный наряд, был весь серый от пыли и грязи; и чем больше Понго смотрел на него, тем яснее ему становилось, что отец его—такой же бушмен, как все те старые негры, которых он видел немало во время своих

дальних странствий и на которых привык смотреть свысока.

Йоло, по крайней мере, был вождем, старшиной.

Да, тогда я позвму хижину у Йоло, — подумав, сказал Понго.

Йоло вздрогнул от радости, кивнул носильщикам и указал им на хижину, предназначенную для Понго. Якула опять стиснул свои беззубые челюсти, злобно озираясь вокруг, как старая обезьяна. Мальчишка стоявший около, начал вышучивать его. Якула смерщил лицо, стянув всю кожу к носу, и пригрозил мальчишке своим костлявым кулаком.

После того, как Понго пережил первые моменты разочарования и неуверенности, для него наступили счастливые дни. Для всей деревни он был почетным гостем. В каждой хижине, даже в самой бедной, всегда ждал его дымящийся на огне горшочек с поидю или масак-ой, и всюду страшно радовались его появлению. Постепенно он возобновил все прежние дружеские отношения, и сознание, что он во всех отношениях — и в экономическом, и в социальном, и в культурном — выше своих товарищей, было ему приятно, радовало его. Йоло, который во время детства Понго знать не хотел никого из

членов семьи Якуты, теперь оказывал Понго неизменное благоволение. И перед всем этим фимамом лести Понго, разумеется, не мог устоять. Не говоря уже о том, что он щедро одарил Юло, отца и всех своих ближайших родичей, он ежечасно раздавал свои вещи каждому, с кем встречался, все равно — богатому и бедному, просто из сердечной доброты, чтобы видеть вокруг себя обрадованные и благодарные лица. Содержимое сундуков быстро убывало, но не иссякала щедрость сердца Понго.

Он накопил свое богатство, откладывая деньги из своего жалованья, выращивая цыплят, и уток и ведя ими меновую торговлю с торговцами и туземцами на чужбине, где он прожил эти три года; но бедняга не знал, что прожить капитал много легче, чем наживать его. Он обошел всю деревню, не пропуская ни одной хижины, побывал и в лесу, и на реке, из старых излюбленных мест охоты и рыбной ловли, заглянул и в хуторки, стоявшие за деревней между полями маниока. Всюду принимали его с самым сердечным радушием, всюду вид тех мест, где он провел свое детство, будил в нем забытые воспоминания, и всюду он щедро и от души раздавал своим старым знакомым подарки.

Однажды он сидел вместе с Юло, Якухой и несколькими другими юными односельчанами, под навесом на площадке у дерева собра-

ний, где Йоло обыкновенно обедал. Они сидели друг против друга на двух толстых бревнах; на земле между ними стояли пустые деревянные блюда.

Они только что пообедали. Жирный суп из масаки, полусгнившего мяса антилопы и пальмовых орехов был очень вкусен, точно так же, как и сильно наперченная каша из пондю и копченая рыба. В каше было столько перца, что Понго, не привыкший есть со стариками, ободрал себе все горло. Теперь, насытившись, они отдыхали, наполняя свои легкие дымом из большой деревянной трубки, переходившей из рук в руки; набрав полный рот дыму, каждый минуту задерживал его во рту и затем пускал густые облака в глаза сидевших напротив, которые после этого почти исчезали в белом тумане.

Йоло только что выпустил изо рта такое облако и глубокомысленно уставился на покрытую перлом землю между ногами Понго. Остальные молчали, выжидательно глядя на своего вождя.

— Послушай-ка, Понго,—начал Йоло,—следовало бы тебе взять себе жену.

— Да,—подхватил старый Якула; его маленькие черные глазки горели от усердия—он теперь всегда старательно поддакивал Йоло,—да, да, жену. Он закивал своей дряхлой, седой головой.

— И-да, само собой,—ответил Понго.

— Разумеется, разумеется! — поддержали Якула и прочие.

У Йоло был уже готов чудесный план. Он был подальновиднее Понго и ясно представлял себе, как постепенно должна измениться вся конъюнктура в Мопото. Почему бы ему не продать солдату свою маленькую толстушку Яи с толстыми медными кольцами на лодыжках? За нее можно взять, по крайней мере, шесть кусков той красивой синей материи, что лежит в сундуке у Понго. А потом, когда у Понго ничего не останется, можно будет выкупить ее обратно за полцены.

Понго ничего не имел возразить против Яи. Ему даже лестно было завладеть любимой женой старшины, которую тот собственно предназначал для своего старшего сына.

— Десять штук материи, — сказал Йоло. — Тогда ты получишь ее, вместе с медными кольцами, украшениями из бус и всем прочим.

Понго хотел показать, что он также умеет торговаться, и сказал: восемь.

В конце концов они сторговались за девять, но Йоло настоял на том, чтобы кузнец снял с Яи тяжелые медные кольца, украшавшие ее ноги. Иначе, — уверял он, — мена ему будет невыгодна.

Кликнули Яи.

Сна покраснела, — насколько это возможно было для нее при ее черной коже, и вся сжалась от стыда. А когда узнала, что с нее снимут кольца, заплакала.

И Понго уже загоралась любовью к ней, и ради этой любви и мира в будущей семье ему пришлось добавить еще полкуса за кольца.

Наступил день, когда Понго впал в задумчивость. День был яркий, солнце светило по-прежнему, но Понго был угрюм и тревожен, так как действительность начинала заявлять о себе. Ему вспоминалось, как скуп он был все эти предыдущие годы сам для себя, как он экономил, как упорно наживал и копил, — и в душе его обсыпалась тревога, ему начинало казаться, что все это время он жил не по средствам. Единственною этих мрачных мыслей была старая французская газета, выстидавшая жестяное дно его самого большого и любимого сундука. Правда, Понго читать не умел, но все же ему казалось, что он кое-что прочел в этой газете, в тот момент, когда неожиданно увидел ее на дне опустевшего сундука.

Его отец, Якула, приходил к нему ежедневно и каждый раз выпрашивал у него какой-нибудь платок или пару медных пластинок — чтобы купить себе поест, как он говорил.

— Сын мой, я, ведь, уж стар, и мне трудно добыть себе кусок хлеба.

Это была наглая ложь. Дома он терроризировал свою старушку жену. Она справляла всю работу на их маленьком манишковом поле, поадня бродила по лесу, собирая для него плоды и коренья, или же часами стояла в лесу у принадежавшей им небольшой сажалке, черпая воду дыривой корзинкой и пропуская сквозь корзинку воду и грязь, чтобы поймать пару рыбешек, которых он седал один, не оставляя ей ни кусочка. Она делала и мужскую работу: таскала домой бамбук и саркофриний, рубила деревья, росшие на поле Якулы, и т. п. Нужды Якулы терпеть не доводилось, и все, что он выпрашивал у сына, он тщательно прятал в самом темном углу своей хижинки, сдужившем ему для сна.

В этот угол стирик никого не пускал, даже свою жену, которая, принуждена была спать на земле под открытым небом, в то время, как Якула лежал в тепле, закутанный в остатки старого одеяла, и от времени до времени он купывал целы ли сокровища.

Понго ежедневно навещали его старые друзья из Моното и соседних деревень. Все это были добрые старые знакомые, и каждый из них мог попросить хоть что-нибудь на память. Многие из них даже обижались, если подарки

полученные ими, оказывались менее ценными, чем те, которые Понго раздавал вначале людям, имевшим на это гораздо меньше прав. И Понго поневоле давал и давал, потому что ему не хотелось, чтоб его друзья стали коситься на него.

Но в конце концов, в один злосчастный день, по деревне пошел слух, что Понго не открывает более своих сундуков. Одни полагали, что он возгордился и не желает больше знать старых друзей, но другие объясняли дело проще, шепча, что в сундуках ничего — уж больше нет, или, по крайней мере, осталось очень мало.

Последнее подтверждала и Ян, которой уж стало скучно жить у Понго, так как теперь в его хижине уже не было богатых запасов копченой рыбы, мяса антилопы, бананов, манса, копченых личинок, жирного пальмового масла, соли и тому подобных деликатесов. Случалось, даже, что она убегала из дому на целых два-три дня и проводила их у своего бывшего супруга и господина; и потом Йоло был прекрасно осведомлен об имущественном положении Понго.

Месяц спустя после возвращения Понго домой, Йоло уже перестал приглашать его время от времени делить с ним трапезу под навесом на площади; и теперь, когда Понго роздал все свое имущество, Йоло уже не держал себя с

ним, как с равным, но постоянно давал ему почувствовать свой авторитет старейшины.

Кончилось тем, что он купил у Понго и все его три блестящих сундука,—купил за две штуки материи и в результате этой выгодной сделки значительная часть бореола, еще осенявшего голову Понго в глазах жителей Мопото, перешла на их старого вождя. Когда Понго при таких сделках снова перепадал кусок другой материи, престиж его на время снова поднимался, и наивные души даже начинали опять верить в его богатство. Он покупал еду по дорогой цене, дарил соседей победнее, еще захаживавших к нему в хижину, и дня через два оказывался опять с пустыми руками.

Однажды к нему пришел Йоло с предложением:

— Не продашь ли ты мне Ян?

Понго продал ее за три штуки сукна и целых три дня после этого жил господином.

Но это был его последний источник наживы.

Теперь он начал снова обходить своих друзей, стараясь попасть к обеду. Вначале дело шло превосходно, в особенности в тех домах, где еще уцелело что-нибудь от его подарков.

Но и гостеприимства соседей хватило ненадолго. Даже самые глупые из жителей деревни вскоре поняли, что Понго свалился с своего ви-

сокого пьедестала. Ясный взор его уж не сверкал отвагою, как взор вождя; его лживые рассказы уж никого больше не убеждали; красная фуражка, от частого соприкосновения с закопченными сажей кровлями грязных хижин, сама стала грязной и засаженной; а муллик обносился и утратил блеск.

Теперь Понго уже открыто давали понять, что с ним не желают больше иметь никакого дела, что к нему утратили всякий интерес. А Моло мало того, что перестал кормить его, но потребовал у него обратно хижину, говоря, что она нужна ему самому. И сконфуженный Понго вынужден был искать приюта в родительском доме.

— Веди ты, мне, отец, — сказал он Якуле, войдя туда и усевшись на глиняный горшок.

Якула был не особенно этим польщен. Он бранился с утра до вечера, ибо сын скоро открыл его кладовую в темном углу, служившем старику для сна, и в трухлявых досках проделывал отверстие, через которое то и дело вытаскивая то одно, то другое.

Теперь старики и богатеи — те, у которых было по многу жен, — встречаясь с Понго на площадях, отворачивались и смотрели в другую сторону. Если же сталкивались с ним в более узком проходе, как, например, на тропинке в иппоковом поле или в пасаде, то в ответ на

солдатское приветствие Понго, подносявшего руку к козырьку, ограничивались тем, что прикладывали ко лбу один-два искривленных пальца, и то с большою надменностью.

Положение становилось для Понго совершенно невыносимым.

Под навесом на площади собраний держали совет. Дело шло о проведении через лес границы между Моното и соседней деревней. Понго тоже уселся в кругу стариков и именитых людей и хотел принять участие в обсуждении вопроса, это была последняя его попытка вернуть себе прежний престиж.

Но, когда он подал голос, голо отвернулось в другую сторону и проворчал:

— Гм, гм, гм.

А Якула, который тоже пришел незваным и теперь искал случая показать, что он отнюдь не на стороне сына, наставительно молвил:

— Молодые люди должны молчать, когда говорят старики.

Молодежь, стоявшая кругом, подавить, навести уши. В воздухе нахло грозой. Понго расшвырнул. Он видел, что необходимо сделать усилие, чтобы спасти хотя бы честь.

Он поднялся с крайнего конца бревна, на котором сидел, выступил из-под навеса на пло-

шадь, залитую солнцем, и, упершись руками в бока, выбранил отца рабом, который боится Йоло и подлизывается к нему. А что такое Йоло? Даже смешно говорить—какой-то жалкий предводитель четырех десятков дикарей; между тем, как он, Понго, на «Баре» был дружен с вождами, командовавшими многими тысячами воинов, имевшими тысячи жен, тысячи коров, тысячи хижины и тысячи слоновых клыков.

— Ты—старый людоед!—гневно кричал он Йоло.—Ты на своем веку сожрал сотни людей, и я отлично знаю, что не далее, как год тому назад, к вам пришел из лесу человек с корзиной копченого человеческого мяса. Ты купил у него всю человечину и слопал ее вместе с этими вот скотами, что сидят рядом с тобою.

Присутствующие разинули рот, как будто они давно и позабыли об этом. Но Йоло, чувствующий, что ответственность за этот факт лежит на нем, косился в сторону. Скверная выйдет история, если белый из Ямбайи придет сюда чинить расследование. Чего доброго, это может стоить Йоло его титула вождя и старейшины. И Йоло уже был готов предложить Понго взять обратно Яи, чтоб только умиротворить его.

Но Понго был вне себя. Он почувал, что старик испугался.

— Я донесу на вас белому чиновнику на

Ямбаи. А теперь уйду назад на «Бар». Но прежде скажу вам в глаза, что вы—настоящие бушмены, ну, да, *sacré pot!* *)—бушмены. А не казенные люди. А я—солдат, казенный человек, и не желаю долгие жить среди изменников и людоедов.

С этими словами он направился к опушке леса, к тому самому месту, на котором два месяца назад он впервые появился, как откровение из далекого, неведомого мира.

Но, прежде чем исчезнуть окончательно, еще раз обернулся, погрозил кулаком и крикнул:

— Эй вы, воришки, сволочь! Я никогда больше не вернусь к вам или вернусь только затем, чтобы продать всех вас в рабство. Грязные свиньи! Ведь, вы даже не моетесь никогда. Я все расскажу про вас белому человеку. Вы все у меня украли: мой материн, бусы, медь, мою жену и мои сундуки.

Старейшины чувствовали, что им не под силу бороться с этой обрушившейся на них юной грозой, и дрожали от страха.

Йоло и Якула—оба хотели бы, чтобы Понго вернулся, и вопросительно косились друг на друга.

— А мне плевать! И пусть уходит,—сказал Йоло.

*) Французское ругательство.

Понятное дело, — поддержал Якула.
Но мальчики-подростки находили, что Понго был велик и прекрасен в своем гневе. И его фигура с поднятым кулаком, на опушке леса — олицетворение бунта молодости — была для них в их юные годы образом и кумиром.

Понго не вернулся: он был убит на Ниле.
Но символ социальной революции и прогресса в Моното — не белый человек, могучий иноземный вождь в Ямбайе, а маленький вождь Понго с поднятым кулаком и сверкающими гневом глазами.

БЕЛЫЕ СВЯТКИ НА КОНГО.

Лодка поднималась вверх по течению медленно, тяжело, с неприятными толчками. Каждый раз, как тридцать весел одновременно погружались в воду, и вода начинала журчать и плескаться о шершавые края лодки, а лодка неожиданным толчком опрокидывалась на левый бок; как только весла вынимали из воды, и с вертикально поставленных лопастей начинала капать вода, лодка мягко поворачивалась снова на правый бок. Должно быть, у нее было кособокое дно или же одна сторона ее была больше закруглена, чем другая; а может быть, выдолбленный ствол дерева, из которого была сделана лодка, был неравномерно тяжел с обеих сторон.

Это был один из тех вопросов, которые навсегда остаются невыясненными.

На реке Конго, между Стэнливилем и Касабинго, встречаются лодки, с виду совсем кривые, а между тем на воде они держатся прямо или, по крайней мере, раскачиваются равномерно, симметрично, так что каждый раз весла не успевают толкнуть пассажира в ярость. И есть другие,

красивые и стройные, как миноноски; если вы приобретете такую пирогу, вы вначале гордитесь ею, но потом оказывается, что на ней страшно трудно грести, и гребцы так устают от толчков, что им приходится ежедневно проводить на воде часа на два больше времени, чем они предполагали. У лодок свои причуды, которых никому не понять.

Нашу пирогу рекомендовал нам один знакомый в Стэнливилле, который, на другой день сам собирался отправиться вверх по течению. У берега стояли две лодки, и начальник станции позволил нам выбрать одну из них.

Теперь мы вспомнили, как он усмехнулся, увидев, которая выбрана нами. А тот знакомый, выехавший в другой лодке, уже обогнал нас: на третий день пути мы видели, как он огибал остров у противоположного берега; теперь он опередил нас наверное уже на три дня, если не больше.

Да и по гребцам, сменявшимся в каждой лодке, можно было заметить, что эта лодка хорошо им знакома и не пользуется их симпатиями.

Мы же успели возненавидеть ее. Она вилялась, как старая разбитая лошадь, и от толчков у нас желчь разливалась по всему телу. Эти внезапные перекидывания налево и вслед затем медлительные, какне-то расслабленные пово-

роты направо, раздражали нас нестерпимо и увеличивали нашу усталость.

И надо же было выбрать такую дурацкую лодку! Мы положительно ненавидели ее, как ненавидишь личного врага, и, в конце концов, попытались избавиться от нее, променяв ее на другую.

Навстречу нам, вниз по реке, ехал белый. Мы обратились к нему с невинными лицами, какие строят люди, когда они могут прикрыться недостаточным знанием языка—в данном случае, французского.

— В этой лодке очень трудно грести против течения. Но по течению вниз она пойдет отлично.

Эти слова сопровождались красноречивым жестом на итальянский манер и сказаны были с искренностью, сквозившей даже в наших волосах.

Свинцового цвета лицо с другой лодки безмолвно вперило в нас недоверчивый взгляд. За три года скитаний по этой стране можно развить в себе такое недоверие. И он усмехнулся. Да, этот негодяй имел наглость улыбаться,—и еще какой-то больной, недоверчивой, хитрой улыбкой, от которой нас кинуло в дрожь. Он совершенно игнорировал наше недостаточное знание языка. Уж не подумал ли этот дурак, что мы лжем?..

Мы поехали дальше, и от каждого движения лодки всею нас переворачивалось и в желудке,

изв мозгу. Нас обоих знобило, лихорадило. В желудке ощущалась какая-то вялость, во рту вкус меди, голова хрустает, и, когда мы выходили на берег, первое время нас шатало из стороны в сторону. Только ночью, когда морак спускался на землю, мы успокаивались, и нам становилось лучше.

Эта прогулка в лодке, пожалуй, стоила бы одному из нас жизни, если бы мы не сокращали наши переходы, устранив и в полдень долгие привалы на берегу.

Мы сидели друг против друга, на складных стульях, стараясь укрыться от солнечных лучей, силевшихся проникнуть с двух концов в наше крохотное, душное убежище, под раскаленный сверху шалан из пальмовых ветвей, поставленный для нас посередине лодки.

Это было 24 декабря. Накануне, нас два по три раза, ночью трясла лихорадка. А с утра начал мучить голод, хотя, помимо утреннего коффе, вышитога на суше, мы уже сегодня два раза завтракали в лодке. Первый раз — вареными пыплетами: это очень полезно для больного желудка, в особенности, если их есть с викул ми; во второй раз — жареными пыплетами: это тоже хорошо для больного желудка. Приходилось, таким образом, по пыпленку на завтрак на человека. Впрочем, это совсем не так много,

ибо цыплята в Конго крохотные, накормленные и толстые.

А теперь мы отдыхали оба, мечтательно глядя перед собой в пространство. Нам обоим было не по себе, во рту неприятный вкус, на спине — холодный пот, а сверху нас палило солнце.

Один из нас напомнил, что сегодня сочельник. Нам стало странно, как это мы, европейцы, в такой день сидим в лодке, видя перед собой двадцать пять спин и пять лиц чернокожих гребцов с лоснящимися от жира черными, татуированными телами; и сверху, сквозь навес из ветвей, нас печет солнце, словно какой-то демон, не давая ни на минуту забыть о своем присутствии; а дома у нас теперь собачий холод, и замерзшая земля звенит под ногами, и звуки далеко разносятся в тихом воздухе над покрытым снегом полем.

— Как ты думаешь, дома у нас в этом году белые свитки? — спросил мой товарищ.

Как наивен был этот вопрос! Впрочем, в таких случаях, собственно, несправедливо говорить о наивности.

Внезапно во мне шевельнулось подозрение.

Не знаю, было ли это результатом приступа лихорадки, трепавшей меня ночью, лихорадки, которая все время тапала за нами, лихорадки и бодрости, и хорошего настроения — или же мое подозрение было справедливо. Разве такие вещи

можно знать?.. Как бы то ни было, мне померещилось что-то загадочное в этом выражении: «белые святики» и в улыбке, которая сопровождала эти слова. Мой товарищ поспешил согнать эту улыбку с лица, едва я взглянул на него. Мне почудилось, будто он что-то прячет про себя и не хочет подсагаться со мной. Я нахмурился и раздражительно выговорил:

— Ну, уж это только Господу Богу известно.

Помню, как он при этих словах покосился на меня, и я понял, что он подумал:

— Какой сухарь! Ничего-то он не понимает. Ему не слышен звон рождественских колоколов, что несется там, дома, над тихими снегами.

И я подумал, что он читает у меня на лице совсем не то, что у меня на душе. И, тем не менее, продолжал угрюмо смотреть на скользющую желтую воду. Потому что я был сердит. Сердит на его веселую улыбку, белые зоры и эти детские ямочки по углам рта.

Потом он уснул, а я долго еще думал об его улыбке. До этой минуты все у нас было общее, праздник Рождества принадлежал столько же мне, как и ему.

Я напряг слух, силясь услышать звон колоколов, который в этот день, под Рождество, несется по свету; но не слышал его. Искал в своей памяти источника, из которого бы хлынули старые детские воспоминания о Рождестве—и не на-

ходил его. Силился представить себе, что я дома, на безбрежных снежных полях, — но все видел перед собой только солнечный свет и мутную желтую воду. Искал слов, чтоб вылить свое праздничное рождественское настроение, но находил лишь пустые слова, а настроения не было. А вот к нему оно пришло, и он не хочет поделиться со мною.

Но, может быть, такими вещами и нельзя делиться. Может быть, он не в силах уделить мне и частицы того, чем он владеет. Это, наверное, и означала его улыбка.

С тихим усталым вздохом, голова его, покрытая тропическим племеном, в защиту от солнца, опустилась на грудь. Я же чувствовал себя бездомным бедняком, без родины и друзей, и все следил за игрой солнечных лучей на его поникшей голове.

А между тем, все это время мы заботились друг о друге. На этой реке товарищи мерли, как мухи, один за другим, и старые, которым мы больше всего доверяли, и молодые, на которых возлагали всего больше надежд. В особенности круто приходилось нам, датчанам. Мы уже думали, что все наши земляки в Конго обречены на погибель. Однако, смерти мы не боялись, и это, пожалуй, было самое худшее. Вопрос был

не в том: умереть ли, а в том, как умереть. Мы стояли особняком, вне естественной связи с окружающим. Мы не владели языками, на которых говорили другие, которые сближали их между собой и связывали с землей. Мы как-то соскочили с зарубки...

Но никогда еще не опускались мы до того, чтоб унижаться друг перед другом и покинуть другого в беде; по крайней мере, мы двое. Нет, мы делили вместе и горе, и радость, ели одну и ту же пищу, насчитывали у себя одинаковое количество биений пульса, страдали одинаковыми болезнями. Каждый из нас заботился о себе, но еще больше — о другом; быть может, потому, что каждому из нас казалось, будто ему становится легче, когда он дает другому добрые советы; быть может, и потому также, что ни один из нас не мог вынести мысли о возможности остаться одному.

Наши совместные усилия все же до известной степени достигали цели и держали лихорадку на почтительной дистанции; ибо мы не могли представить себе большего позора, как умереть от лихорадки, в приступе безумия, среди ребяческих видений.

Дня два тому назад нам встретился умирающий, плывший вниз по реке. В нас самих было немощнее, больше жизни, чем в нем. Мы чувствовали это и, должно быть, не сумели это скрыть.

Но ему, должно быть, показалось это надменностью, насмешкою живых над обреченным. Может быть, два дня спустя, он так и умер в своей лодке, не доехав до места. Ведь умереть можно от таких пустяков... А для нас встреча с ним была как бы новым предостережением.

Несмотря на свою досаду, я все-таки следил за тем, чтобы солнце не пекло прямо в голову моему товарищу, так как с ним уже и накануне было что-то вроде приступа бреда: он говорил с людьми, живущими Бог знает где, и, главным образом с одной женщиной, которую звали Анной, и которая была мне совершенно незнакома.

В конце концов, я прошептал тихо, как только и может шептать человек, когда он с побелевшими губами сидит под палящим солнцем и все-таки чувствует, что его знобит:

— Ты не смеешь умереть и оставить меня одного!

И, когда мне стало ясно, что я рассердился на него, я испешил простить ему, что он не хотел поделиться со мною тем, неделимым.

Но мне, все-таки, было жутко, что товарищ мой, что называется, «не в себе» и бредит, потому что, ведь, ужасно досадно, когда единственный человек в мире, с которым вы можете раз-

говаривать, воображает, будто он еще ходит в школу в Гельсингёре, или же отбывает рекрутчину на осенних маневрах. Поэтому я разбудил его и сказал, хотя это была неправда:

— Солнце светит прямо на тебя.— И, улыбаясь, прибавил:— Ну, что? Поспал?

— Кажется,— ответил он, смеясь и как будто извиняясь, хотя извиняться, разумеется, было нечего, так как в лодке мы могли спать сколько угодно.

Наступившая пауза была недолга, но почему-то в этот момент мы оба не в состоянии были выносить молчания. И я первый ринулся вперед, как бабочка на огонь.

— Сколько вас бывает дома в этот вечер?— спросил я.

— В этот вечер?

— Ну, да,— в сочельник.

И он рассказал, что их всех за столом сидит восемь: отец, мать, дядя, две сестры, брат, еще кто-то, кого он не назвал, и, наконец, он сам; только его место сегодня пусто. Отец собственноручно режет гуся и держит речь.

Рассказывая, он улыбался... Я расспрашивал его самым подробным образом обо всех возможных и невозможных подробностях и ждал, что и он, в свою очередь, затем спросит меня, как проводят Рождество у нас; но он не спросил, и мне пришлось самому рассказать. Но

пока я рассказывал, он не слушал и не смотрел на меня. Он смотрел куда-то внутрь себя, на то, чем он не мог поделиться со мной.

Посредине моего рассказа он опять уснул, и это меня смутило. Но обижаться на него, конечно, я не убился. Я даже не разозлился на гребцов, сидевших за его спиной, которые, разумеется, перестали налегать на весла, как только заметили, что белый человек, сидевший к ним лицом, закрыл глаза. Я только крикнул им через плечо:

— Колука ванту! (Гребите, ребята!)

Это я мог крикнуть довольно решительным и властным тоном, настолько у меня хватало знания языка.

Негры запали и принялись в такт стучать палкою о борт лодки так звонко, что звук доносился до деревьев, росших на берегу.

Пока мы плыли дальше, мне вдруг пришла мысль, одна из тех, какие приходят только перед Рождеством, когда эгоисты внезапно испытывают потребность порадовать других—должно быть потому, что их собственная душа пуста, и ей хочется хоть от других занять немного радости. Во время нашего пути я нес обязанности повара, потому что повара-негра из Стэнливилля мы не захватили. На станции не нашлось ни одно-

бо, готового совершить с нами трехдневный путь в обедневшую страну Кассито. Поэтому я до все время пути напрягал свою память, припоминая кушанья, какие я когда-либо ел; и мне удавалось иной раз изготовить блюдо, напоминавшее моему товарищу датскую кухню. Наверное, и сумею и утку зажарить так, что ее можно будет есть. Ведь это совсем просто. Стоит только выкопать на берегу, на глинистом склоне ямку, протереть ее хорошенько зажженным хворостом, а потом положить туда утку — и она испечется. Я чувствовал, что меня охватило вдохновение.

Белая бумажная материя у нас найдется в ящиках. Если поставить четыре железных сундука, по два вместе, положить на них две доски, покрыть их этой бумажной материей, а на доски поставить два подсвечника со стеариновыми свечами, стаканы, эмалевые приборы, банку с пиккулями и бутылку с красным вином, то выйдет совсем праздничный рождественский стол.

Положим, я знал по опыту, что в этот вечер сама я не в состоянии буду есть, так, как меня энюбило, и мне все было противно, но зато хоть ему доставлю радость. — а, значит, и себе.

Но что же мне подарить ему? Надо выискать что-нибудь хорошее, иначе нельзя будет создать надлежащее настроение. Я мысленно перебирал мои сундуки; беда в том, что из Брюсселя мы захватили все одинаковое. Подарить ему пару

штанов, ко-
пару сапог,
ком велики-
подарок?

Мои мыс-
предмету, с-
мание всех,
шестью фла-
которые мог
в эту жару,
быстро, как

Я увидал
и сейчас же
единственны
ков у него н
когда я разо-
маю, а что, и
боротьничам
интереснее

Если уж
только имее
и сд-милле-
ничка, а три
обода, когда
ступнях буд
явесь и дал
лон, и как
и не так по
идеи и

Уже под вечер мы увидали деревню с маленькими белыми домиками и серыми кровлями у изгиба реки, на опушке леса. Солнце уже стояло низко над другим берегом, и от деревьев по реке стался белый туман.

— И у нас будут белые святки, — сказал я.

Предводитель племени, обитавшего в этой деревне, вышел навстречу нам с знатнейшими из своих подданных и осведомился: — не желают ли султаны чего-нибудь? Султаны объявили, что желали бы получить жирную утку.

— Это тебе пришла хорошая мысль, — сказал мой товарищ.

Я загадочно усмехнулся, как будто речь шла о чем-то таком, чего я не мог сказать ему.

К восьми часам стол был накрыт. Две зажженные свечи придавали ему необычайно торжественный вид. Он стоял посредине большой площадки, выходившей на реку, по которой стался белый туман.

Жаркое было невкусно. И вино тоже. Когда у вас во рту медный вкус от лыхорадки, вам может быть приятно только кислое и сладкое. Однакож, оба мы единодушно хвалили мою стряпню.

— Теперь они дома тоже сидят за столом, — говорил он. — Все, кроме меня. Видишь, вон там сидят старики, тут дядюшка, там обе мои сестры и брат, а здесь вот стоит пустой стул, мой пу-

стой стул, который будет три года стоять так и дожидаться меня.

И опять на лице у него появилась та улыбка, которая казалась мне такой нетоварищеской и прикрывала неделимое. А я еще хотел подарить ему мои лучшие воротнички... Тем не менее, и я увидел, как из темноты позади него выдвигается стол. За столом сидели старики, брат и дядя; напротив них — сестры, и тут же стоял его пустой стул, но между этим последним и сестрами был еще один пустой стул. Может быть, он уже разучился считать? Может быть. Не далее, как вчера он упрямо твердил, что наше путешествие длится уже шестнадцать дней, хотя из моей записной книжки ясно было видно, что едем мы только десять дней.

Но, вель, были у меня и мои собственные воспоминания о святках. Ну, разумеется. И до сих пор я также не боялся вызывать их. Правда, не боялся, когда сидел на солнце, но тогда они и не являлись, а теперь вокруг нас была темень, было холодно, и при лунном свете блестел на реке белый туман.

Что, если теперь встанут передо мной эти воспоминания, наваяются ко мне на грудь и начнут душить — теперь, когда я и без того задыхаюсь? У меня далеко не такие мирные и радостные воспоминания о святках, как у него...

Так каждый из нас по своему переживал Рождество, хотя судьба забросила нас обоих на край света и свела за одним и тем же столом.

Мы молча подвинулись с ящиков, на которых сидели, и пересели на стулья, лицом к реке. Бой принесли нам чаю, и мы закурили отсыревшие не-вкусные сигары, которые я хранил на дне одного из своих сундуков, как дорогое воспоминание о растроченном богатстве.

Я только что хотел пойти в дом и достать из сундука воротнички — до сих пор у меня все как-то не было подходящего настроения — вдруг из темноты выскочили босонogie негры и криплыми голосами стали звать нас в деревню, где теперь идет резня между нашими гребнями и здешними жителями.

— Резня! В сочельник, в рождественский вечер! Вот так чудесно! Это не сразу дошло до сознания: мысль работала в усталом мозгу как-то медленно. Но все же мы схватили револьверы и побежали в деревню. Еще издали мы увидали при лунном свете какую-то суету и беготню. До нас доносились удары, топот ног, вздохи и крипкое рычанье.

Мы ринулись прямо на эту толпу и выстрелили в воздух. Вздохи и крики мгновенно утихли, и большинство дикарей разбежалось. Но один,

который очень уж разошелся, бросился на нас с поднятым ножом. Другие, более рассудительные, схватили его, снлясь удержать, но он заколол ножом одного из них, вырвался и побежал опять к нам. Выстрел, угодивший ему прямо в лицо, утомил его, наконец.

Потом мы притащили свои склянки с лекарствами, зашили ему простреленную ижекию губу и перевязали четверых других, которые лежали на земле и стонали.

Покончив с этим, мы поплелись обратно к дому, еще полные впечатлений этой резни и окруженные резким запахом иодоформа.

Мы и забыли совсем, что сегодня рождественский вечер. Но вспомнили об этом сейчас же, как только подошли к дому и увидели холодный огонь двух свечей, одиноко горевших на белом столе.

Это изгладило из нашей памяти неприятное зрелище, виденное в деревне; мы молча стояли и смотрели на скатерть и на свечи.

Я пошел в дом, принес коробку с воротничками и отдал их все шесть своему спутнику, говоря:

— Вот тебе рождественский подарок.

Он не хотел брать их. Ему казалось неловким принять подарок, когда нечем отдарить. Я притворился обиженным, тогда он взял и сразу при-

тих от радости. Он, ведь, был моложе меня и страшно заботился о своей внешности.

Мы с удовольствием напились горячего чая, так как оба дрожали от холода. Я говорил себе мысленно, что теперь хоть у него, по крайней мере, настоящий праздник. Но внезапно на лице его опять появилась та загадочная улыбка, прикрывавшая неделимое—сияющая и праздничная.

— А на стуле между моей сестрою и мной...— начал он, и голос его дрогнул.

— Ну, ну?—подхватил я.

Тут-то и сидело неделимое.

Боже мой, как же я был глуп и низок! Да, теперь мне было понятно, что этого он не мог и не хотел делить со мной. Я теперь сразу понял, в чем заключалось то таинственное, что целый день сегодня висело над нами.

Ее звали Анной и еще как-то дальше, но это неважно, и она обещала еще три сочельника ждать возвращения птицы; улетевшей из родного гнезда на край света.

Боже мой, как я был смущен и сконфужен, и, все-таки, как я был доволен!

...До поздней ночи он никак не мог утомиться, все рассказывал и рассказывал, хотя его тряс жестокий озноб. И меня также. Оживленно и громко мы болтали без конца о Рождестве и о наших далеких белых друзьях.

Было, должно быть, часов одиннадцать, когда он вдруг прервал свой рассказ, обернулся, посмотрел на реку и воскликнул:

— Послушай, да, ведь, это снег выпал!

И тоже обернулся.

— Ну да, конечно, снег!

Дрожа от холода, мы вышли на воздух. Луна светила; воздух был тихий и пронизанный звездным сиянием. На всех крышах, на земле, на реке лежал белый снежный покров.

Вон проехали сани с заливчатыми бубенцами и скрылись за белым холмом. Вдоль реки, на белом снегу, меж высоких домов, тянулись в два ряда фонари. Мы видели людей, спешивших домой, и шаги их на свежем мягком снегу были бесшумны, но мы отчетливо видели их при свете фонарей; они исчезали в темных переулках, снова выходили на свет и опять исчезали.

Мы закрывали глаза и открывали их снова. Снег лежал на земле—мы видели его оба—и фонари горели попрежнему, а там на замерзшей реке, на снегу, все еще весело звенели бубенцы саней.

Я теперь уже несколько не боялся лихорадки.

— Вот, видишь, и у нас белые святки.—сказал я.

— Да—ответил он с удивлением.

Но и он был вполне уверен, что видит и снег, и фонари.

Ибо, когда два человека долго жили вместе, питались одною и тою же пищею, хворали одними и теми же болезнями и, раскрывая рот, чтобы заговорить, говорили одни и те же слова; когда оба они долго ничего не видали, кроме убегающей вдаль реки; когда их обоих подстерегала лихорадка, и язык окружающего мира все время оставался непонятным для них; когда нить судеб обвила их одним и тем же коконом из невидимого шелка—тогда у них и видения бывают одинаковые. И счастье, что так.

САНГАЛИМЕНЕ ИЗ УПОТО.

Сангалимене был одним из лучших помощников девственного леса в его борьбе с будущим. Свою неистощимую энергию он черпал в бездонном прошлом неведомой культуры. Взгляд у него был горячий, проникательный, сохранивший яркий блеск былых времен. В его высокой, широкоплечей фигуре с сильным и гибким станом, казалось, воплотилась творческая мечта гения древоности.

Во время своего приезда в Вачаканду, он повел себя вызывающе дерзко с молодым начальником станции, французским поручиком Дюбуа, которого чёрные звали «Кванго». Он напрямик заявил французам:

— Страна принадлежит мне. Если капитан Салонга потребует, чтобы я платил подать казне, — пусть сам придет за нею.

Кванго дрожал от злости, рассказывая об этом капитану, только что возмратившемуся из четырехмесячной разведочной экспедиции.

— И что же? Все это время он, значит, ничего не платил? — осведомился капитан.

— Ничего! Он явился с пустыми руками, в сопровождении десятка вооруженных людей, и держал себя необычайно грубо.

— Позовите ко мне сержанта Ибоко.

Вызвали из солдатского лагеря Ибоко. Он прибежал и вытянулся внизу, у веранды, приложив руку к красной фуражке.

— Ты все время после моего отъезда жила на станции. Рассказывай,—сказал ему капитан, на языке суагели.

Ибоко поднялся на три ступеньки, отделявшие веранду от земли, и нерешительно приблизился к беслому, который сидел в покойном откидном кресле, крутя в пальцах папироску. Ибоко посмотрел на свои босые черные ноги, блестящие от масла, которым они были натерты, потом на свою синюю холщевую форменную куртку, вытрямился и указал рукой на свои золотые галуны.

— Салонга! Эти нашивки дал мне губернатор. Значит, я не лгу. Сангалимене был здесь и вел себя очень плохо. Я служу правительству уже двенадцать лет, и потому говорю правду. Верь мне: Сангалимене там, у себя дома, замысливает недоброе. Он собрал около себя в Упото все население нашего края.

— Его гонит туда голод и оспа,—возразил капитан Салонга и посмотрел на поручика, видимо, не появившего ни слова из этого разговора. Ибоко отозвался в свою очередь:

— Салонга! Прежде Сангалимене был твоим другом, потому что он боялся тебя. Тогда он был маленький, а ты сильный. Теперь он уже не боится тебя. Он могучий знахарь. Это он наслал голод и оспу. Он замысливает недоброе.

При этих словах темные глаза Ибоко засверкали, так он был убежден в правдивости своих слов.

— Вы понимаете, что он говорит?—спросил капитан поручика Дюбуа.

— Нет. Суагели я еще не понимаю. Я говорю только на языке бангала.

— Голод в здешнем краю все растет. Эта история с Сангалимене — пустяк; но за его грубость по отношению к вам я дам ему здоровую нахлобучку—в этом вы можете быть уверены. Теперь ступайте в комнаты и напишите доклад.

Кванто прошел на другой конец веранды и вошел в дом через дверь, ведущую в канцелярию. Капитан Салонга не тронулся с места, только повернул голову, чтобы посмотреть ему вслед. Некоторое время он сквозь легкий дым папироски любовался воздушной пляской мотыльков, целыми роями порхавших перед домом, между цветами и кофейными деревьями.

Его тело еще не отдохнуло после долгих переходов. Так приятно было бы просто сидеть по-

койно в кресле и думать о чем-нибудь безразличном, или, всего лучше, совсем не думать. Мысли его скользили под черными тенями кофейных деревьев, сился поймать мерцающий огонек там, в иных — далеких широтах.

Вдруг, он повернул голову, и его зоркий, пылливый взгляд встретился с открытым, уверенным взглядом Ибоко.

И на миг потонул в нем, чтобы прочесть в этом взгляде все, что хотелось бы узнать усталому воину от мудрого сына природы, который уже много лет был его неизменным спутником во всех превратностях жизни в первобытной стране.

— Локута та! — заверил его Ибоко. — Я не лгу.

Салонга знал Сангалимене с тех пор, как прибыл в эту страну — уж восемь лет. И следил за жизнью Сангалимене с большим интересом, чем за участью других вождей. Ибо он сумел разглядеть, что именно этот человек будет иметь огромное значение для организации воинственного населения этой страны.

В этом он не ошибся. Сангалимене стал могущественнейшим из вождей местных племен. Но, чтобы этот вождь осмелится не признавать и его власти, — он не хотел и не мог поперить. Это было невозможно.

Ему вспомнилось, как пять лет тому назад, Сангалимене, с тысячью испытанных воинов, при-

шел ему на помощь против изменника Бен-Сабн, вырезавшего целый караван белых и черных, которым поручено было лесными дорогами доставить на берег моря, в разобранном виде, парход.

Капитан Салонга усмехнулся, мысленно вызвав перед своими глазами образ Сангалимене: великана, с воснящейся кожей, стройного и гибкого, как статуя, опирающегося на длинное, блестящее копьё, — и вспомнив, как этот черный великан швырнул на землю перед его палаткой отрубленную голову Бен-Сабн.

В этот день Салонга и Сангалимене стали друзьями, и Салонга воскликнул:

— Ты — могучий властелин, непобедимый воин, первый из вождей правительства и мой друг навеки!

Радясь удачному концу трудного и утомительного похода, он, говоря на языке бангала, употреблял все хвалебные эпитеты в превосходной степени, пока Сангалимене от радости не разразился громким смехом. Так польстили ему эти хвалебные речи.

И теперь Салонга сам рассмеялся, вспомнив, как они вместе одолели Бен-Сабн; он встал, потрепав по плечу Ибоко и молвил:

— Локута! — неправда это. Видно, Ибоко, гроза первобытного леса, начинает стареться. Или,

может быть, у него бывают дурные сны, как у женщин?

Но на послушном лице Ибоко не нашла отражения улыбка капитана. Пристально глядя вдаль, он повторил:

— Локута тэ.

Капитан с минуту глядел на него, потом сказал:

— Дня через два мы выступаем: я хочу навестить моего старого друга Сангалимене в Упото. Ступай. И не рассказывай никому о своих дурных предчувствиях.

Ибоко медленно, в раздумьи отошел, как старый солдат, который не привык думать и соображает туго. Так, по крайней мере, подумал Салонга, заметив, как Ибоко оставляет назад правую ногу. Но, когда Ибоко повернулся на каблучках и приложил руку к козырьку, перед тем как сойти с террасы, в груди Салонги вдруг шевельнулось темное тревожное чувство... А вдруг Ибоко окажется прав?..

Но, идя в канцелярию, он опять говорил себе: «Не может быть! Кто угодно,—только не он».

Дождь лил ручьями. С непрерывным гуденьем из разверзшихся небес изливались потоки воды. По лесу шел такой треск и гул, что,

если бы даже Кванго крикнул, Ибоко, шедший впереди впереди него, не услышал бы. Поэтому, не удивительно, что Кванго чувствовал себя одиноким в центре этой длинной, быстро марширующей колонны. В его ушах отдавался гулешем только шум дождя, и ему казалось, что он отрезан от своих людей. И в его распадленном лихорадочной возгусу звенели какие-то небывалые звуки, вспыхивали какие-то странные галлюцинации.

Ему трудно было собрать мысли. Его знобило. Дождь пробивал насквозь его легкую, холщевую одежду и стекал ручьями по его груди и спине.

Трясаясь от лихорадки, он шел дальше, ежеминутно боясь, что вот-вот он упадет от голода и переутомления. Уже десять дней его отряд маршировал по местности, как будто вымершей от голода и оспы, или, по крайней мере, покинутой населением. Они проходили через деревни, в которых видели только мертвых и умирающих. И нигде нельзя было добыть никакой еды, ни для поручика, ни для солдат. Небольшой запас провизии, захваченной с собой из Ванаканды, был съеден в первые же пять дней. С тех пор Кванго питался листьями маниока и пальмовыми орешками, а у его людей не всегда бывало и это.

Он был так удручен, так устал и околесел от холода, как еще никогда в жизни.

Капитан с своим отрядом в восемьдесят чело-

век должен быть теперь уже в Упото. Успел ли он дойти? На другой же день по выходе со станции он разделил отряд на две части, между собой и Кванго, и сказал:

— 15-го, ровно в десять утра, я буду в Упото. Если вы последние два дня будете идти скорым шагом, вы можете прийти туда два часа спустя после меня.

И Кванго в лихорадочных видениях представлялся капитану Салонга, как он утром, в тот день, когда они расстались, стоял перед ним и смотрел на него как-то загадочно; и слышался его голос, говоривший:

— И ничто не помешает мне в назначенный срок быть в назначенном месте.

Сегодня было 15-е и ровно два часа.

Кванго семенил мелкими шажками дальше, идя по следам Ибоко, и прислушиваясь к шуму дождя. Ему показалось, что этот шум ослабевает, и на душе у него стало легче. Перейдя в брод небольшой лесной речей, он остановился, чтобы собрать свой отряд, рассыпавшийся от быстрой ходьбы. Обессиленный, почти без сознания, он присел на маленький походный стул, разложенный для него боем. И пока он отдыхал, с блестящими глазами и пылающими от лихорадки щеками, дождь постепенно перестал, и нервы поручика немного успокоились.

Вокруг него, на корнях деревьев и комьях земли сидели солдаты. Лица у них были серые от голода, холода и усталости. Некоторые из них, как сени, так тотчас же и уснули; другие, держась за свои ружья, воткнутые в землю, сидели неподвижно, глядя вниз или прямо перед собой, в кусты. И, должно быть, мечтали о том: воблатом дымке, лениво стелющемся над низкими соломенными крышами, и о тихом шипеньи гайнанных котшков с горячим супом — по идю — варившемся за дымным огнем.

Кванго взглядывался к своим людям.

Широкое скуластое лицо Ибоко исхудало и заострилось, как у тяжело-больного, но вся фигура его дышала непобедимой силой, даже и теперь, когда он стоял, опираясь на свое ружье и повернувшись лицом к отставшим солдатам и носильщикам, еще со ту сторону ружья поспешавшим им вдогонку, увязав в болоте и перелезав через корни.

Кванго отдыхал душой, глядя на Ибоко. Потом и он повернулся лицом к марширующим солдатам.

И, когда он увидел, как они, оборванные, грязные и промокшие насмерзь, кашляя и тяжело дыша, топтались в болоте, ему вдруг показалось странным, что, кроме этого топота и хлюпанья воды под ногами, он не слышит ни единого звука. Его окружало унылое, гнетущее безмолвие.

В это время из лесу, навстречу им, вышел человек.

— Это Салонга—в Упото? — спросил Ибоо, упираясь подбородком в дуло ружья.

— Нет,—ответил встречный.—Салонга еще не пришел. Мы ничего не слыхали о нем.

И пошел своей дорогой.

И опять Кванго представился капитан, как он стоял в тот день и отдавал приказания. И какая-то смутная тревога закралась в его душу—страх, вызванный, очевидно, каким-нибудь воспоминанием, но каким именно—он не знал. И он с тревогой смотрел на голую спину незнамого человека, принесшего такую нежеланную весть и теперь скрывшегося из вида, по ту сторону ручья.

Опять на него напал жестокий озноб. Хотелось одного, лечь на дороге, свернуться клубком и уснуть.

И он опять посмотрел на сержанта, мрачный и пылливый взор которого, как будто угадывал тревогу, закрывшуюся в ослабленную лихорадкой душу белого.

Если Салонга уже в Упото, почему он не дает знать, не шлет гонца? Кванго с трудом поднялся на ноги и выпрямил окоченевшую спину.

Длинный хвост отряда, состоявший из солдат, боев и носильщиков, извивался вдоль края большой открытой площади; вдали, из-за поля еще

не созревшей маниоки, выглядывали крыши деревни, приютившейся в тени банановой рощи.

Повсюду взору открывались поля маниоки, маиса и риса; на опушке приветливо кивали раскидистые деревья, с большими листьями, похожими на пальцы.

Хмурое небо немного прояснело; сквозь тучи начинали пробиваться лучи заката. Стало совсем тихо: не шелохнется ветерок. Видно было, как между хижинами в деревне ходили люди, но ни единого звука не доносилось и оттуда. Там царил та же мертвая тишина, как и в отряде.

— Вы ничего не слышали о капитане Салонга? — спрашивал Кванго жителей деревни, когда отряд его, замедлив шаг, маршировал между хижинами и бананами.

— Ничего, — ответил старый негр, — очевидно, важная особа в этой деревне, — вышедший им навстречу в сопровождении толпы молодежи.

— Где дом Сангалимене? — продолжал спрашивать Кванго.

— Эта деревня принадлежит мне. Я — Кимпоко. Мы живем здесь полгода. Сангалимене ушел отсюда. Тебе надо миновать еще поля и перейти через два потока, прежде чем ты дойдешь до его деревни.

Ибоко недоверчиво взглядывался в морщинистое старое лицо. Ему странно было, что Сангалимене покинул место, где он жил раньше, и что

никто ничего не слышал о капитане, который, однакоже, несомненно, должен был проходить этими местами.

Сколько раз Ибоко сопровождал Салонгу в походах, и ни разу еще не бывало случая, чтобы капитан опоздал.

— Не найдется ли у вас какой-нибудь пищи для моих людей?—спрашивал Квайго.—Мы уже несколько дней голодаем.

Старик ответил:

— Мы очень бедны. Хлеб на полях наших еще не созрел. Там, у Сангалимене, вы найдете сколько угодно риса, маиса, майоки и бананов.

Ибоко ограничился тем, что тихонько пробормотал себе под нос:

— Лекута! (Брег).

Отряд снова, извиваясь, как змей, двинулся дальше. Квайго смертельно устал, но ему хотелось сегодня же соединиться с капитаном. Непременно надо расспросить Сангалимене... Хижинки гурьбой столпились у самой дороги; идя мимо, можно было заглядывать в маленькие домики и низенькие кухни, где женщины размазывали бананы в муку или варили похлебку — пондю. Перед хижинами сидели мужчины, лениво и как-то испуганно поглядывая на солдат. Усталые, истощенные, они медленно проходили мимо; иные завистливо поглядывали на дымящиеся горшки с похлебкой и невольно

сжимали кулаки, сердясь на то, что здешние жители такие негостеприимные.

Уже далеко за полдень, миновав три длинных поля с созревшими хлебами, они дошли до деревни Сангалимене. Кванго с удовольствием прислушивался к веселому говору, который пошел по рядам солдат, когда красные шапки замелькали над высокими стеблями маниоки. Его самого бодрило это зрелище пышных хлебов.

Огибая угол банановой роши, до сих пор скрывавшей от взоров селение, он увидел на лево на опушке роши маисовое поле, как будто недавно только вытопанное и опустошенное. Высокие стебли лежали на земле раздавленные или примятые в разные стороны. И странно было, что с этих растоптанных стеблей не сорваны тяжелые колосья.

Это зрелище врезалось в его возбужденный лихорадкою мозг и вызвало в нем тут же трепет испуга, как давеча в лесу, когда его внезапно изумило молчание солдат.

Но этот страх так же быстро исчез, ибо с большой площади, которую обступили выбеленные известью мазанки, вдруг донесся оглушительный шум, словно тысячи человеческих глоток заорали разом. Там кричали, пели, плясали, били в барабаны. Молодежь — мужчины и женщины — с хохотом и радостными выкриками кружились в хороводе. Кванго скоро понял, что это

они затеяли песни и пляски на радостях по случаю прибытия его отряда.

Толпа молодых женщины, приплясывая, выбежала навстречу солдатам. Женщины хлопали в ладоши, топали ногами и кричали, как бесноватые. Из одной хижины, побольше других, вышел, весело смеясь, Сангалимене, своею собственной персоной, в сопровождении целого штаба молодых и старых мужчин, безоружных, но увешенных украшениями из бус и медных пластинок.

Еще издали Сангалимене кричал поручику.

— Добро пожаловать в мою деревню, белый человек, великий вожь, господин сотни ружей! И ты, Ибоко, гроза девственного леса, добро пожаловать!

Женщины, продолжая плясать, протискивались между солдатами, и эти последние вздыхали с облегчением и смелись, радуясь неожиданному радушию и близкой перспективе наполнения голодных желудков.

Кванго, усталый и ослабший, был совершенно озадачен таким приемом. Стоя перед этим черным богатырем, не перестававшим болтать и смеяться, он уже совершенно не испытывал той злобы, которая душила его столько дней после последнего приезда Сангалимене в Ванаканду. В этом варваре, несомненно, было какое-то прирожденное величие и благородство, производившее впечатление на поручика. Каждый

раз, как он встречал глубокий темный взгляд этого человека, в котором была такая странная смесь высокомерия и силы, ему начинало казаться, что собственно следовало бы извиниться перед этим голым дикарем с медным щитом на лбу за те бранные слова, которые он тогда, в Ванаканде, кричал ему вслед:

«Зверь лесной, обманщик, людоед».

— У вас нет никаких вестей о Салонге? — спрашивал он Сангалимене.

— Как нет? — есть. Он скоро будет здесь. Недавно прибегал гонец из соседней деревни — известить, что Салонга идет сюда.

При этих словах у Кванго полегчало на душе. Он был убежден, что теперь настал конец всем страданиям, и весело смеялся, глядя, как молодежь — парни и девушки — плясали между рядами солдат.

— Ну, теперь нам больше не придется голодать! — крикнул он передним рядам, и голодные солдаты смеялись в ответ, осторожно отстраняя от себя танцующих.

— Ты хочешь сейчас же накормить твоих людей? — спросил Сангалимене.

Все солдаты закричали в ответ «да».

Только Ибоко стоял в сторонке, усталый и мрачный, не разделяя радости прочих. Казалось, вот-вот он снова выкрикнет всему свету в лицо свое: «Локута!» Но он только закусил губы,

нахмурился и молчал, весь сторбившись, словно под бременем неведомого, тяжелого рока.

А Сангалимене кричал:

— Слушай, Кванго! мы радуемся, что вы пришли. Все, что вы здесь видите, принадлежит вам. Салонга скоро придет. Вы будете жить вон там.—Сангалимене указал рукой вдаль, где за полями тянулись длинные ряды хижин.

— Ты положи здесь Салонгу. А люди твои пусть составят вместе ружья, а затем могут отправиться грабить—ну вот хоть это поле.

При этих словах Сангалимене указал на большое майсовое поле, лежавшее на опушке леса в стороне противоположной входу в деревню.

На минуту Кванго вспомнил вытоптанное поле, давеча бросившееся ему в глаза. Но вокруг него был такой шум и содом, и сам он так устал, что совершенно не мог связать в одно целое возникавшие в нем смутные тревоги и опасения. И мог только покориться. Он созвал своих людей и, пока дикари продолжали петь и плясать, они составили в одну пирамидку все свои ружья, а потом изголодавшиеся солдаты и носильщики с криками ликования устремились через лес к мансовому полю, бегом, перескакивая через корни и пни.

Одни только Ибоко остался и попрежнему, с ружьем в руке, стоял возле Кванго. Но и его оттеснила свита вождя Сангалимене.

Кванго видел, как Сангалимене сделал знак кому-то, стоящему позади, и вдруг понял и сознал, что он стоит здесь совсем один перед тысячей черных лиц, разгоряченных дикой, уродливой пляской. Каждое движение этих людей заставляло его еще глубже чувствовать, какая пропасть лежит между ним и ними.

Сангалимене и сам пустился в пляс. Сначала он только раскачивался на бедрах, притопывая ногой перед Кванго, потом ринулся в круг танцующих.

Кванго следил за ним. Все это могучее, лоснящееся черное тело крючилось и изгибалось в каких-то неестественных варварских вывертах, на которые было чудно и противно смотреть.

И вдруг, сквозь весь этот шум прорвался крик. Потом другой, третий... Крики доносились оттуда, с мансового поля...

Минуту спустя весь воздух звенел от тревожных криков. На черных, ликующих лицах Кванго читал уже нескрываемую, дикую ненависть. Внезапно перед ним бчутился Сангалимене. Толстая верхняя губа его вся вздернулась кверху, как у хищного зверя, обнажив ослепительно белые зубы. Он крикнул Кванго:

— Вот тебе Салонга!

Кванго задрожал всем телом и почувствовал, что силы покидают его.

Ибо на вытянутой ладони Сангалимене лежала голова Салонги с выколотыми, пустыми глазами.

Кванго схватился за револьвер, но в то же мгновение раздался выстрел. Сангалимене раскинул руки, которые звонко шлепнулись о голые бедра, зашатался еще сильнее, оскалив белые зубы и упал мертвым.

Кванго отвернулся, и все перед его глазами заволокло туманом.

Он смутно видел, как толпа накинута на Ибоко, который стоял, сверкая глазами и сжимая в руке дымящийся ствол ружья.

Песни и пляски прекратились; на площади царила теперь мертвая тишина. А там, на мансовом поле, где уже несколько часов, как залегли в засаде воины Сангалимене, с звериным нетерпением поджидая врага, лилась кровь из зияющих ран и перерезанных глоток.

Когда Кванго, миг спустя, увидел занесенную над ним, сверкающую саблю, которая должна была отделить его голову от туловища, точно кровавая молния озарила его мозг, и он вдруг понял.

Понял, что капитан Салонга пришел сегодня утром в назначенный срок, в десять часов, с таинными же изголодавшимися, одурелыми от голо-

да и усталости людьми, что от усталости и голода он соображал так же плохо и оттого погиб.

И вдруг услышал какое-то странное хрюканье, поднимавшееся к нему, словно из неведомой, бездонной глубины времен.

Это старый девственный лес смеялся над жалким человеком, которого мучил такой же страх смерти, каким терзалась и его собственная умирающая душа.

Перевод с датского

З. Журавской.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие Р. Григорьева.	5— 10
В страну лихорадок.	11— 25
Белая бактерия.	26— 68
Железный голод.	69— 92
Возвращение Понго.	93—114
Белые святки на Конго.	115—134
Сангалимене из Упото.	135—153

Перевод З. Журавской.

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Изд. *„Всемирная Литература“*, состоящее при Государственном издательстве ставит своей задачей дать в переводе на русский язык все наиболее выдающиеся произведения мировой художественной литературы, начиная с конца XVIII века и до наших дней.

С этой целью издательство *„Всемирная Литература“* выпускает в свет две серии книг: основную и народную библиотеку.

Основная библиотека включает в себе собрание сочинений европейских, американских и колониальных писателей, избранных с таким расчетом, чтобы книги этой серии по окончании издания составили систематически подобранную библиотеку, могущую служить не только материалом для чтения, но также пособием к изучению истории мировой литературы во всем разнообразии ее национальных оттенков, литературных школ, течений и художественных форм изложения.

Составляя неразрывные части единого целого, книги основной библиотеки бу-

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

дут по техническим условиям выходить вне порядка, указанного в каталоге, а в зависимости от времени их напечатания.

Общее количество книг основной библиотеки—около 1500 томов. Средний размер тома—около 20 печатных листов (320 стр.).

Народная библиотека состоит из небольших по объему книг, доступных пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии.

Пользуясь художественной литературой, как могучим средством культурного воздействия и международного единения, народная библиотека имеет целью познакомить читателя с наиболее интересными особенностями исторических судеб, культуры, быта и психики европейских наций, а главное—с теми сокровищами веками накопленных знаний и культурных навыков, которые, являясь достоянием всего человечества, служат надежным залогом братства всех людей—залогом грядущего Интернационала.

Количество книг народной библиотеки—около 2500 томов. Размер отдельного тома—около 4 печ. листов (64 стр.).

Книги обеих библиотек снабжены необходимыми пояснениями и вступительными

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

статьями как историко-литературного, так и общеобразовательного содержания.

В первую очередь выйдут в свет переводы с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского, норвежского, датского и голландского языков. Вторую очередь составляет литература западных славян, мажар, а также отдельная обширная серия литератур и словесности Востока.

Заведующие Издательством: М. Горький, Э. М. Гржебин, М. Л. Ладужников, А. А. Тихонов.

Редакционная Коллегия экспертов:

Ф. Д. Батюшков, А. А. Блок, Ф. А. Браун, А. Л. Волынский, М. Горький, А. С. Тумилов, Е. М. Заматин, А. Я. Лебизсон, Т. Л. Позинский, В. И. Сильверсман, А. А. Тихонов, К. Чуковский.

В редакционной работе принимают участие:

Е. А. Агамов, В. А. Азов, Ю. И. Айхенвальд, А. В. Амфиитеатров, А. М. Ахичкова, Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, А. А. Бенуа, Е. М. Браудо, В. А. Брим, А. А. Брок, В. А. Брюсов, Э. А. Венгерова,

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

А. В. Ганзен, М. О. Гершензон, Л. Л. Гизетти, Э. Н. Гиппиус, Л. П. Гнедич, И. М. Гребс, Р. Г. Григорьев, Б. А. Грифцов, П. К. Губер, А. Ф. Даманская, Ю. Н. Дамаск, О. А. Добыш, М. А. Жирмунский, Б. Я. Жуховецкий, С. М. Зарудный, Ф. Ф. Зелинский, Вяч. Иванов, В. П. Измакова, Вл. Каренин, Л. П. Карсавин, М. С. Козак, А. Ф. Кони, М. А. Кузмин, А. М. Куприн, М. Е. Левберг, Н. О. Лернер, Е. М. Леткина, М. А. Лозинский, А. В. Луначарский, Е. Г. Лундберг, М. М. Манухина, П. П. Муратов, С. Ф. Ольденбург, П. П. Перцов, С. А. Поляков, Н. И. Потапенко, С. Э. Раглов, Э. Л. Раглов, А. М. Ремизов, А. Н. Римский-Корсаков, Н. Н. Серебров, Ф. Сологуб, В. В. Струве, Я. Мугендхольд, Т. П. Федотов, Н. Холмогоровский, В. Ф. Ходасевич, М. Цветаева, А. Н. Чеботарева, В. А. Чудовский, Н. Л. Шапир, В. К. Шилейко, С. И. Штейн, С. В. Штейн, С. Я. Штрайх, Б. М. Эйхенбаум и др



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ
Молодая №136.

Л. 5 - ОКТ 1942

ЦЕНА 25 РУБ.

